

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

# БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ

Ю.М. ЛОТМАН



Александр Сергеевич  
**ПУШКИН**

БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ



Ю. М. ЛОТМАН

Александр Сергеевич  
**ПУШКИН**



БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ

Пособие для учащихся  
Издание второе

Ленинград  
«Просвещение»  
Ленинградское отделение  
1983

ББК 83.3Р1  
Л 80

**Лотман Ю. М.**

Л 80 Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя: Пособие для учащихся. — Л.: Просвещение, 1983. — 255 с., 0,25 л. ил. — (Серия «Биография писателя»).

В книге на основе богатого фактического материала рассказывается о жизни великого русского поэта А. С. Пушкина, творчество которого составило эпоху в развитии русской литературы. Обстоятельно характеризуется личность поэта, его душевный склад. Широко показана политическая, общественная, культурная жизнь эпохи, в которую жил и творил Пушкин, его окружение — родные, друзья, соратники по литературной борьбе. Особое внимание уделено связям Пушкина с революционным движением своего времени, с передовым литературным движением эпохи.

Жизнь и личность Пушкина предстают в книге в двухсторонней связи с эпохой: будучи сформированы своим временем и тесно связаны с ним, они в свою очередь активно воздействуют на историческое развитие России.

Написанная известным советским ученым, биография Пушкина будет интересна не только учащимся старших классов, но и всем, кто любит литературу.

Л 4306020300-052 КБ-50-8-82  
103(03)-83

ББК 83.3Р1  
8Р1 (075)

## ВВЕДЕНИЕ

В редкую эпоху личная судьба человека была так тесно связана с историческими событиями — судьбами государств и народов, — как в годы жизни Пушкина. В 1831 году в стихотворении, посвященном лицейской годовщине, Пушкин писал:

Давно ль друзья... но двадцать лет  
Тому прошло; и что же вижу?  
Того царя в живых уж нет;  
Мы жгли Москву; был плен Парижу;  
Угас в тюрьме Наполеон;  
Воскресла греков древних слава;  
С престола пал другой Бурbon (*III, 2, 879–880*)<sup>1</sup>.

Так дуновенья бурь земных  
И нас нечаянно касались... (*III, 1, 277*)

Ни в одном из этих событий ни Пушкин, ни его лицейские однокурсники не принимали личного участия, и тем не менее историческая жизнь тех лет в такой мере была частью их личной биографии, что Пушкин имел полное основание сказать: «Мы жгли Москву». «Мы» народное, «мы» лицеистов («Мы возмужали...» в том же стихотворении) и «я» Пушкина сливаются здесь в одно лицо участника и современника Исторической Жизни.

Через полгода после рождения Пушкина, 9 ноября 1799 года (18 брюмера VIII года Республики), генерал Бонапарт, неожиданно вернувшись из Египта,

<sup>1</sup> Сочинения Пушкина цитируются по полному собранию сочинений в 16-ти томах (Изд-во АН СССР, 1937–1949; Большое академическое издание). Римской цифрой обозначается том, арабской — полутом и страница; цитирование произведений, названных в тексте, не оговаривается. В квадратные скобки заключено зачеркнутое Пушкиным, в ломаные — читаемое на основании реконструкции (конъектуры). В ряде случаев сохраняются пунктуация и написание подлинника, расходящиеся с принятыми сегодня.

произвел государственный переворот. Первый консул, пожизненный консул и, наконец, император Наполеон, он оставался во главе Франции до военного поражения и отречения в 1814 году. Затем, через несколько месяцев, он на 100 дней восстановил свою власть и в 1815 году, после разгрома под Ватерлоо, был сослан на остров Св. Елены. Годы эти были для Европы временем непрерывных сражений, в которые начиная с 1805 года была втянута и Россия.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года на другом конце Европы, в Петербурге, также произошел государственный переворот: группа дворцовых заговорщиков и гвардейских офицеров ворвалась ночью в спальню Павла I и зверски его задушила. На престоле оказался старший сын Павла, двадцатичетырехлетний Александр I.

Молодежь начала XIX столетия привыкла к жизни на бивуаках, к походам и сражениям. Смерть сделалась привычной и связывалась не со старостью и болезнями, а с молодостью и мужеством. Раны вызывали не сожаление, а зависть. Позже, сообщая друзьям о начале греческого восстания, Пушкин писал про вождя его, А. Ипсиланти: «Отныне и мертвый или победитель принадлежит истории – 28 лет, оторванная рука, цель великолужная! – завидная участь» (XIII, 24). Не только «цель великолужная» – борьба за свободу, – но и оторванная рука (Ипсиланти, генерал русской службы, потерял руку – ее оторвало ядром – в сражении с Наполеоном под Лейпцигом в 1813 году) может стать предметом зависти, если она вводит человека в Историю. Едва успевая побывать между военными кампаниями дома – в Петербурге, Москве, родительских поместьях, – молодые люди в перерыве между походами не спешили жениться и погружаться в светские удовольствия или семейственные заботы: они запирались в своих кабинетах, читали политические трактаты, размышляли над будущим Европы и России. Жаркие споры в дружеском кругу влекли их больше, чем балы и дамское общество. Грязнула, по словам Пушкина, «гроза 1812 года». За несколько месяцев Отечественной войны русское

общество созрело на десятилетия. 15 августа 1812 года (еще Москва не была сдана!) умная, образованная, но, вообще-то говоря, ничем не выдающаяся светская дама М. А. Волкова писала своей подруге В. И. Ланской: «Посуди, до чего больно видеть, что злодеи в роде Балашова (министр полиции, доверенное лицо Александра I. — Ю. Л.) и Аракчеева продают такой прекрасный народ! Но уверяю тебя, что ежели сих последних ненавидят в Петербурге так же, как и в Москве, то им не сдобрить впоследствии»<sup>1</sup>.

Война закончилась победой России. Молодые корнеты, прапорщики, поручики,

Которые, пустясь в пятнадцать лет на волю,  
Привыкли в трех войнах лишь к лагерю да к полю  
(VII, 246, 367), —

вернулись домой израненными боевыми офицерами, сознававшими себя активными участниками Истории и не хотевшими согласиться с тем, что будущее Европы должно быть отдано в руки собравшихся в Вене монархов, а России — в жесткие капральские руки Аракчеева.

Невозможность вернуться после Отечественной войны 1812 года к старым порядкам широко ощущалась в обществе, пережившем национальный подъем. Острый наблюдатель, лифляндский дворянин Т. фон Бок писал в меморандуме, поданном Александру I: «Народ, освещенный заревом Москвы, — это уже не тот народ, которого курляндский конюх Бирон таскал за волосы в течение десяти лет»<sup>2</sup>. Характерен замысел трагедии «1812 год», который позже обдумывал Грибоедов: основным героем пьесы должен был стать крепостной М. (имени Грибоедов не определил), герой партизанской войны, который после победы должен «вернуться под палку господина». Наброски трагедии Грибоедов

<sup>1</sup> Каллаш В. В. Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. М., 1912, с. 253—254.

<sup>2</sup> Предтеченский А. В. Записка Т. Е. Бока. — В кн.: Декабристы и их время. М. — Л., 1951, с. 193; подлинник по-фр., перевод публикатора. За свою записку Бок поплатился долгими годами крепости, позже покончил с собой в Вильянди.

завершил выразительной репликой: «Прежние мерзости». М. кончал самоубийством. Стремление не допустить возвращения к «прежним мерзостям» «века минувшего» (выражение Чацкого) было психологической пружиной, заставляющей вернувшихся с войны молодых офицеров, рискуя всем своим будущим, отказываясь от радостей, которые сулила полная сил молодость и блестящее начатая карьера, вступать на путь политической борьбы. Связь между 1812 годом и освободительной деятельностью подчеркивали многие декабристы. М. Бестужев-Рюмин, выступая на конспиративном заседании, говорил: «Век славы военной кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства, и неужели Русские, ознаменовавшие себя столь блестательными подвигами в войне истинно Отечественной – Русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма?»<sup>1</sup>

В 1815 году в России возникли первые тайные революционные общества. 9 февраля 1816 года несколько гвардейских офицеров в возрасте двадцати – двадцати пяти лет – все участники Отечественной войны – учредили Союз Спасения, открыв тем самым новую страницу в истории России. Победителям Наполеона свобода казалась близкой, а борьба и гибель за нее – завидными и праздничными. Даже суровый Пестель, к тому же находясь в каземате крепости и обращаясь не к единомышленникам, а к судьям и палачам, вновь переживал упоение свободой, вспоминая эти минуты: «Я сделался в душе республиканец и ни в чем не видел большего Благоденствия и высшего Блаженства для России, как в республиканском правлении. Когда с прочими членами, разделяющими мой образ мыслей, рассуждал я о сем предмете, то, представляя себе живую картину всего счастья, коим бы Россия, по нашим понятиям, тогда пользовалась, входили мы в такое восхищение и, сказать можно, восторг, что я и прощие готовы были не только согласиться, но и предложить все то, что содействовать бы могло к пол-

---

<sup>1</sup> Восстание декабристов, т. IX. М., 1950, с. 117.

ному введению и совершенному укреплению и утверждению сего порядка вещей»<sup>1</sup>.

Число членов тайного общества быстро росло, и в 1818 году оно было реорганизовано в Союз Благоденствия – конспиративную организацию, рассчитывавшую путем влияния на общественное мнение, давления на правительство, проникновения на государственные посты, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, свободолюбия, личной независимости и ненависти к деспотизму подготовить Россию к коренному общественному преобразованию, которое предполагалось провести через десять – пятнадцать лет. Влияние Союза Благоденствия было широким и плодотворным: в безгласной России, где любое дело считалось входящим в компетенцию правительства, а все входящее в компетенцию правительства считалось тайным, члены Союза Благоденствия явочным порядком вводили гласность. На балах и в общественных собраниях они открыто обсуждали правительственные действия, выводили из мрака случаи злоупотребления властью, лишая деспотизм и бюрократию их основного оружия – тайны. Декабристы создали в русском обществе не существовавшее дотоле понятие – общественное мнение. Именно оно обусловило то – новое в России – положение, о котором Грибоедов устами Чатского сказал:

... нынче смех страшит, и держит стыд в узде.

Однако широкий размах деятельности и установка на гласность имели и слабые стороны: Союз Благоденствия разбухал за счет случайных попутчиков, конспирация почти свелась на нет. К 1821 году правительство имело уже в руках ряд доносов, дававших обширную информацию о тайном обществе. Сведения эти тем более встревожили императора, что утвердившийся после падения Наполеона реакционный порядок Священного союза европейских монархов трещал и рушился: волнения в немецких университетах, революция в Испании, революция в Неаполе, греческое восстание, волнения в Семе-

---

<sup>1</sup> Восстание декабристов, т. IV. М. – Л., 1927, с. 91.

новском полку в Петербурге, бунт в военных поселениях в Чугуеве под Харьковом — все это настраивало русское правительство на панический лад. Начались репрессии: были разгромлены Казанский и Петербургский университеты (после инквизиторского следствия были уволены лучшие профессора, преподавание ряда наук вообще запрещено; университеты стали напоминать смесь казармы и монастыря), усилились цензурные гонения, из Петербурга были высланы Пушкин и — несколько позже — поэт и декабрист полковник Катенин.

Собравшийся в этих условиях в 1821 году в Москве нелегальный съезд Союза Благоденствия, узнав о том, что правительство имеет полные списки заговорщиков, объявил тайное общество ликвидированным. Но то был лишь тактический шаг: на самом деле вслед за первым решением последовало второе, которое восстановливало Союз, но на более узкой и более конспиративной основе. Однако восстановление происходило негладко: тайное общество раскололось географически — на Юг и Север, политически — на умеренных, покидавших его ряды, и решительных, в основном молодежь, сменявшую лидеров первого этапа декабризма. В обстановке организационного развала приходилось бороться с настроениями пессимизма и вырабатывать новую тактику. Правительство, казалось, могло торжествовать победу. Однако, как всегда, победы реакции оказались мнимыми: загнанное вглубь, общественное недовольство лишь крепче пустило корни, и к 1824 году и Южное и Северное общества декабристов вступили в период новой политической активности и непосредственно подошли к подготовке военной революции в России.

19 ноября 1825 года в Таганроге неожиданно скончался Александр I. Декабристы давно уже решили приурочить начало «действия» к смерти царя. 14 декабря 1825 года в Петербурге на Сенатской площади была сделана первая в России попытка революции. Картечные выстрелы в упор, разогнавшие мятеожное каре,звестили неудачу восстания и начало нового царствования и новой эпохи русской жизни.

Николай I начал свое правление как ловкий следователь и безжалостный палаch: пятеро руководителей движения декабристов были повешены, сто двадцать – сосланы в Сибирь в каторжные работы. Новое царствование началось под знаком политического террора: Россия была отдана в руки политической тайной полиции: учрежденная машина сыска и подавления – третье отделение канцелярии императора и жандармский корпус – представляли как бы глазок в камере, через который царь наблюдал за заключенной Россией. Место грубого и малограмотного Аракчеева заняли более цивилизованные, более образованные, более светские Бенкендорф и его помощник Дубельт. Аракчеев опирался на палку, правил окриком и зуботычиной – Бенкендорф создал армию шпионов, ввел донос в быт. Если декабристы стремились поднять общественную нравственность, то Бенкендорф и Николай I сознательно развращали общество, убивали в нем стыд, преследовали личную независимость и независимость мнений как политическое преступление.

Однако остановить течение жизни невозможно. Николай I видел свою – как он считал, божественную – миссию в том, чтобы «подморозить» Россию и остановить развитие духа свободы во всей Европе. Он стремился подменить жизнь циркулярами, а государственных людей – безликими карьеристами, которые бы помогали ему, обманывая самого себя, создавать декорацию мощной и процветающей России. Историческое отрезвление, как известно, было горьким.

Но в обществе зрели здоровые силы. Вся мощь национальной жизни сосредоточилась в это время в литературе.

Такова была эпоха Пушкина.

---

# Глава первая

## ГОДЫ ЮНОСТИ



### П

ушкин родился 26 мая 1799 года<sup>1</sup> в Москве в доме Скворцова на Немецкой ул. (ныне ул. Баумана, № 10, дом не сохранился) в семье отставного майора, чиновника Московского комиссариата Сергея Львовича Пушкина и жены его Надежды Осиповны (урожденной Ганнибал). Кроме не-

го в семье были старшая сестра Ольга и три младших брата. Пушкины были родовиты. В автобиографических заметках Пушкин писал: «Мы ведем род свой от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, как говорит летописец, т. е. знатного, благородного), выехавшего в Россию во времена княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Колотривовы, Шерифединовы и Товарковы» (ХII, 311). Родство со многими фамилиями коренного русского барства делало Пушкиных тесно связанными с миром и бытом той, «допожарной» (т. е. до пожара 1812 года) Москвы, в которой говорили: «Родство люби счасть и воздай ему честь» – и: «Кто своего родства не уважает, тот себя самого унижает, а кто родных своих стыдится, тот чрез это сам срамится».

«Родословная матери еще любопытнее, – продолжал Пушкин. – Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из сераля, где содержался он аманатом (заложником. – Ю. Л.), и отоспал его Пет-

<sup>1</sup> Все даты даются по старому стилю.

ру Первому» (*XII*, 311–312)<sup>1</sup>. К концу XVIII века Ганнибалы уже тесно переплелись кровными связями с русскими дворянскими родами — породнились с Ржевскими, Бутурлиными, Черкасскими, Пушкиными. Отец и мать поэта были родственники (троюродные брат и сестра).

Пушкины были весьма небогаты. Бесхозяйственные и недомовитые, они всю жизнь находились на грани разорения, в дальнейшем неизменно урезали материальную помощь сыну, а в последние годы его жизни и обременяли поэта своими долгами. У Сергея Львовича Пушкина барская безалаберность сочеталась с болезненной скопостью. Друг А. С. Пушкина П. А. Вяземский сохранил в своих записках сценку: «Вообще был он очень скончан и на себя и на всех домашних. Сын его Лев за обедом у него разбил рюмку. Отец вспыхнул и целый обед проворчал. «Можно ли, — сказал Лев, — так долго сетовать о рюмке, которая стоит 20 копеек?» — «Извините, сударь, — с чувством возразил отец, — не двадцать, а тридцать пять копеек!»<sup>2</sup>

Семья принадлежала к образованной части московского общества. Дядя Пушкина Василий Львович Пушкин был известным поэтом, в доме бывали московские литераторы. Еще ребенком Пушкин увидел Карамзина, тогдашнего главу молодой русской литературы, слушал разговоры на литературные темы.

Воспитание детей, которому родители не придавали большого значения, было беспорядочным. Из домашнего обучения Пушкин вынес лишь прекрасное знание французского языка, а в отцовской библиотеке пристрастился к чтению (тоже на французском языке).

<sup>1</sup> Предок Пушкина был не негр, а арап, т. е. эфиоп, абиссинец. Появление его при дворе Петра I, возможно, связано с более глубокими причинами, чем распространившаяся в Европе начала XVIII века мода на пажей-арапчат: в планах покорения Турецкой империи, которые вынашивал Петр I, связи с Абиссинией — христианской страной, расположенной в стратегически важном районе, в тылу неспокойного египетского фланга Турции, — занимали определенное место. Однако затяжная Северная война не дала развиться этим планам.

<sup>2</sup> Вяземский П. Старая записная книжка. Л., 1929, с. 114.

Наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем. В жизни дворянского ребенка Дом – это целый мир, полный интимной прелести, преданий, сокровенных воспоминаний, нити от которых тянулись на всю дальневидную жизнь. В воспоминаниях С. Т. Аксакова повествуется, как разлука с родителями и родным домом – его привезли из поместья родителей в казанскую гимназию – обернулась для ребенка недетской трагедией: жизнь вне дома казалась ему решительно невозможной. Детство Л. Н. Толстого не было идиллично (разлад между родителями, долги и легкомыслие отца, его странная смерть), и однако глубоко прочувствованные строки посвятил он в повести «Детство» миру первых воспоминаний, родному дому, матери. Детство Лермонтова было изуродовано тяжелой семейной трагедией, он вырастал, не зная подлинной семьи, в обстановке вражды между ближайшими родственниками. И все же он пронес через всю жизнь поэзию детства и родного Дома:

Наружно погружаясь в их блеск и суету,  
Ласкаю я в душе старинную мечту,  
Погибших лет святые звуки...  
И вижу я себя ребенком и кругом  
Родные все места: высокий барский дом  
И сад с разрушенной теплицей.

Образ же Отца – опозтизированный и трагический, вопреки реальным биографическим фактам, – вошел в романтический мир Лермонтова.

Пушкин легко покинул стены родного дома и ни разу в стихах не упомянул ни матери, ни отца. Упоминания же дяди Василия Львовича скоро стали откровенно ироническими. И при этом он не был лишен родственных чувств: брата и сестру он нежно любил всю жизнь, самоотверженно им помогал, сам находясь в стесненных материальных обстоятельствах, неизменно платил безо всяского ропота немалые долги брата Левушки, которые тот делал по-отцовски беспечно и бессовестно переваливал на Пушкина. Да и к родителям он проявлял большие внимания, чем они к нему. Тем более бросается в

глаза, что, когда в дальнейшем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он неизменно вспоминал только Лицей — детство он вычеркнул из своей жизни<sup>1</sup>. Он был человек без детства.

А когда внутреннее развитие подвело Пушкина к идеи Дома, поэзии своего угла, то это оказался совсем не тот дом (или не те дома), в которых он проводил дни детства. Домом с большой буквы стал дом в Михайловском, дом предков, с которым поэт лично был связан юношескими воспоминаниями 1817 года и годами ссылки, а не памятью детства. И под окном этого дома сидела не мать поэта, а его крепостная «мама» Арина Родионовна.

Детство, однако, — слишком важный этап в самосознании человека, чтобы его можно было бы вычеркнуть, ничем не заменив. Заменой мира детства, мира, к которому человек, как правило, обращается всю жизнь как к источнику дорогих воспоминаний, мира, в котором он узнает, что добrotа, сочувствие и понимание — норма, а зло и одиночество — уродливое от нее уклонение, для Пушкина стал Лицей. Представление о Лицее как о родном доме, о лицейских учителях как старших, а о лицеистах как товарищах, братьях окончательно оформилось в сознании поэта в середине 1820-х годов, когда реальные лицейские воспоминания уже слились в картину сравнительно далекого прошлого, а гонения, ссылки, клевета, преследовавшие поэта, заставили его искать опору в идиллических воспоминаниях. В 1825 году он писал:

<sup>1</sup> Это особенно заметно в тех редких случаях, когда литературная традиция заставляла его вводить в поэзию тему детства. Так, в лицейское «Послание к Юдину» Пушкин вводит черты реального пейзажа села Захарова, с которым были связаны его детские воспоминания. Однако образ автора, который мечтает над Горацием и Лафонтеном, с лопатой в руках возделывает свой сад, в собственном доме за мирной сельской трапезой с бокалом в руках принимает соседей, конечно, насквозь условен и ничего личного не несет: Пушкин бывал в Захарьине с 1806 по 1810 год, т. е. между семьью и одиннадцатью годами, и поведение его, конечно, не имело ничего общего с этой литературной позой. Редким случаем реальных отзывов детских впечатлений является стихотворение «Сон» (1816). Но характерно, что здесь упоминается не мать, а няня («Ах! умолчу ль о мамушке моей...»).

Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он как душа неразделим и вечен –  
Неколебим, свободен и беспечен  
Срастался он под сенью дружных муз.  
Куда бы нас ни бросила судьбина,  
И счастье куда б ни повело,  
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;  
Отечество нам Царское Село (*II*, 1, 425).

Но сложившийся в эти годы в сознании Пушкина идеализированный образ Лицея во многом отличался от документальной реальности.

Лицей был учебным заведением, повторившим в миниатюре судьбу и характер многих реформ и начинаний «дней alexандровых прекрасного начала»: блестящие обещания, широкие замыслы при полной непродуманности общих задач, целей и плана. Размещению и внешнему распорядку нового учебного заведения уделялось много внимания, вопросы формы лицеистов обсуждались самим императором. Однако план преподавания был не продуман, состав профессоров – случаен, большинство из них не отвечало по своей подготовке и педагогическому опыту даже требованиям хорошей гимназии. А Лицей давал выпускникам права окончивших высшее учебное заведение. Не было ясно определено и будущее лицеистов. По первоначальному плану в Лицее должны были воспитываться также младшие братья Александра I – Николай и Михаил. Мысль эта, вероятно, принадлежала Сперанскому, которому, как и многим передовым людям тех лет, внушало тревогу то, как складывались характеры великих князей, от которых в будущем могла зависеть участь миллионов людей. Подрастающие Николай и Михаил Павловичи свыклись с верой в безграничность и божественное происхождение своей власти и с глубоким убеждением в том, что искусство управления состоит в «фельдфебельской науке». В 1816 году человек, далекий от либеральных идей, но честный вояка и патриот, генерал П. П. Кононвицын, которому Александр I поручил в 1815 году наблюдение за своими братьями во время их пребывания в армии, видимо, не случайно счел необходимым дать великим князьям письменное наставление: «Если придет время командовать Вам час-

тями войск ... старайтесь улучшать положение каждого, не требуйте от людей невозможного. Доставьте им прежде нужный и необходимый покой, а потом уж требуйте точного и строгого исполнения истинной службы. Крик и угрозы только что раздражают, а пользы Вам не принесут».

В Лицее великие князья должны были воспитываться в кругу сверстников, в изоляции от двора. Здесь им были бы внущены представления, более соответствующие их будущему положению, чем «крики, угрозы» и требование «от людей невозможного», наклонности к чему они начали проявлять очень рано. Если бы этот план осуществился, Пушкин и Николай I оказались бы школьными товарищами (Николай Павлович был всего на три года старше Пушкина). Соответственно этому же плану остальные лицеисты предназначались к высокой государственной карьере.

Замыслы эти, видимо, вызывали противодействие имп. Марии Федоровны. Общее наступление реакции передвойной 1812 года, выразившееся, в частности, в падении Сперанского, привело к тому, что первоначальные планы были отброшены, в результате чего Николай I вступил в 1825 году на престол чудовищно неподготовленным. По свидетельству осведомленного мемуариста В. А. Муханова, «что же касается до наук политических, о них и не упоминалось при воспитании императора ... Когда решено было, что он будет царствовать, государь сам устршился своего неведения»<sup>1</sup>.

Для Лицея в изменении его статуса была и выгодная сторона: хотя ослабление интереса двора к этому учебному заведению влекло за собой понижение его престижа, а будущее лицеистов перестало рисоваться в первоначальном заманчивом виде, зато вмешательство придворных кругов в жизнь Лицея стало менее заметным.

Лицей помещался в Царском Селе – летней императорской резиденции, во флигеле Екатерининского дворца. Уже само местоположение делало его как бы придворным учебным заведением. Однако,

<sup>1</sup> Русский архив, 1897, № 5, с. 89–90.

видимо, не без воздействия Сперанского, ненавидевшего придворные круги и стремившегося максимально ограничить их политическую роль в государстве и влияние на императора, первый директор Лицея В. Ф. Малиновский пытался оградить свое учебное заведение от влияния двора путем строгой замкнутости: Лицей изолировали от окружающей жизни, воспитанников выпускали за пределы его стен крайне неохотно и лишь в особых случаях, посещения родственников ограничивались. Лицейская изоляция вызвала в поэзии Пушкина тех лет образы монастыря, иноческой жизни, искушений, которым подвергается монах со стороны беса. С этим же связано и стремление вырваться из заточения. Поэтическое любование лицейскими годами, как было сказано выше, пришло позднее — во время же пребывания в Лицее господствующим настроением Пушкина было ожидание его окончания. Если в стихах Лицей преобразуется в монастырь, где молодой послушник говорит про себя:

Сквозь слез смотрю в решетки,  
Перебирая четки, —

то окончание его рисуется как освобождение из заточения:

Но время протечет,  
И с каменных ворот  
Падут, падут затворы,  
И в пышный Петроград  
Через долины, горы  
Ретивые примчат;  
Спеша на новоселье,  
Оставлю темну келью,  
Поля, сады свои;  
Под стол клубок с веригой —  
И прилечу расстригой  
В объятия твои (I, 43).

Конечно, лекции лицейских преподавателей, среди которых были прогрессивные и хорошо подготовленные профессора (например, А. П. Куницын, А. И. Галич), не прошли для Пушкина бесследно, хотя он и не числился среди примерных учеников.

Программа занятий в Лицее была обширной. Первые три года посвящались изучению языков:

«российского, латинского, французского, немецкого», — математики (в объеме гимназии), словесности и риторики, истории, географии, танцам, фехтованию, верховой езде и плаванию. На старших курсах занятия велись без строгой программы — утвержденный устав определял лишь науки, подлежащие изучению: предусматривались занятия по разделам нравственных, физических, математических, исторических наук, словесности и по языкам. Разумеется, обширный план при неопределенности программ и требований, неопытности педагогов приводил к поверхностным знаниям учащихся. Пушкин имел основания жаловаться в письме брату в ноябре 1824 года на «недостатки проклятого своего воспитания». Однако в лицейских занятиях была и бесспорная положительная сторона: это был тот «лицейский дух», который на всю жизнь запомнился лицеистам первого — «пушкинского» — выпуска и который очень скоро сделался темой многочисленных доносов. Именно этот «дух» позже старательно выбивал из Лицея Николай I.

Немногочисленность учащихся, молодость ряда профессоров, гуманный характер их педагогических идей, ориентированный — по крайней мере, у лучшей части их — на внимание и уважение к личности учеников, то, что в Лицее в отличие от других учебных заведений не было телесных наказаний и среди лицеистов поощрялся дух чести и товарищества, наконец, то, что это был первый выпуск — предмет любви и внимания, — все это создавало особую атмосферу. Ряд профессоров не был чужд либеральных идей и в дальнейшем сделался жертвой гонений (Куницын, Галич). Лекции их оказывали благотворное воздействие на слушателей. Так, хотя Пушкин имел весьма невысокие оценки по предметам Куницына, тот факт, что одна из глав его не дошедшего до нас романа «Фатама, или Разум человеческий» называлась «Право естественное», говорит сам за себя: Куницын читал лицеистам «Естественное право» — дисциплину, посвященную изучению «природных» прав отдельной человеческой личности. Само преподавание такого предмета было данью либеральным веяниям, и в дальнейшем

он был из программ русских университетов изгнан. Преподаватели, подобные Куницыну, и директор Малиновский действовали, однако, главным образом, не лекциями (Куницын не обладал даром увлекательной речи), а собственным человеческим примером, показывая образцы гордой независимости и «спартанской строгости» личного поведения. Дух независимости, уважения к собственному достоинству культивировался и среди лицеистов. Кроме передовых идей они усваивали определенный тип поведения: отвращение к холопству и раболепному чинопочитанию, независимость суждений и поступков. Журналист сомнительной репутации Фаддей Булгарин в доносительной записке «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного», поданной в 1826 году Николаю I, писал: «В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надо показаться любителем равенства»<sup>1</sup>.

Если отвлечься от злобно-доносительного тона, с одной стороны, и, с другой, учесть, что Булгарин не мог знать «лицейского духа» 1810-х годов по личному опыту, а реконструировал его на основании своего впечатления от поведения Дельвига, Пушкина и других лицеистов в послелицейский период, дополняя картину чертами из стиля поведения «арзамасцев» и «либералистов» братьев Тургеневых, то перед нами окажется яркая характеристика того, как держался в обществе молодой «прогрессист» князя 1810-х – начала 1820-х годов. Что касается утверждения о презрительном отношении к низшим, то речь идет о презрении свободолюбца к раболепному чиновнику, Чатского к Молчалину. Этот, основанный на высоком уважении к себе взгляд свысока молчалины и поприщины (герой повести Гоголя «Записки сумасшедшего») не прощали чацким и печоринным, как Булгарин не мог простить его лицеистам Пушкину и Дельвигу. Булгарин ин-

<sup>1</sup> Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Изд. 3-е. Л., 1925, с. 36.

туицией доносчика угадал связь между «благородным обхождением», к которому воспитатели приучали лицеистов, и оскорбительной для «холопьев добровольных» (Пушкин) свободой поведения молодого либерала.

Основное, чем был отмечен Лицей в жизни Пушкина, заключалось в том, что здесь он почувствовал себя Поэтом. В 1830 году Пушкин писал: «... Начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени» (*XI*, 157).

В те дни – во мгле дубровных сводов  
Близ вод, текущих в тишине,  
В углах Лицейских переходов,  
Являясь Муза стала мне.  
Моя студенческая келья,  
Доселе чуждая веселья,  
Вдруг озарилась – Муза в ней  
Открыла пир своих затей;  
Простите, хладные науки!  
Простите, игры первых лет!  
Я изменился, я поэт (*VI*, 620).

В Лицее процветал культ дружбы. Однако в реальности лицеисты – и это вполне естественно – распадались на группы, отношения между которыми порой были весьма конфликтными. Пушкин приымкал к нескольким, но не был безоговорочно принят ни в одну. Так, в Лицее ощущалась сильная тяга к литературным занятиям, которая поощрялась всем стилем преподавания. Выходили рукописные журналы: «Лицейский мудрец», «Неопытное перо», «Для удовольствия и пользы» и др. Поэтическим лидером Лицея, по крайней мере в первые годы, был Илличевский. Можно предположить, что Пушкин ревниво боролся за признание своего поэтического первенства в лицейском кругу. Однако Б. В. Томашевский показал, что определенных и очень важных для Пушкина сторон его юной поэзии (например, ориентацию на эпическую традицию и крупные жанры) суд однокурсников не принимал и полного единомыслия между молодым Пушкиным и «литературным мнением» Лицея не было<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Томашевский Б. Пушкин, кн. I (1813 – 1824). М. – Л., 1956, с. 40 – 41.

Наиболее тесными были дружеские связи Пушкина с Дельвигом, Пущиным, Малиновским и Кюхельбекером. Это была дружба на всю жизнь, оставившая глубокий след в душе Пушкина. Но и здесь не все было просто. Политические интересы лицеистов зрели, у них складывались сознательные свободолюбивые убеждения. Потянулись нити из Лицея к возникшему движению декабристов: Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер и Вальховский вошли в «Священную артель» Александра Муравьева и Ивана Бурцева. Пушкин приглашения участвовать не получил. Более того, друзья скрыли от него свое участие.

В дальнейшем, когда Пушкин смотрел на лицейские годы с высоты прожитых лет, все сглаживалось. Потребность в дружбе «исправляла» память. Именно после разлуки, когда Лицей был за спиной, воспоминания оказались цементом, который с годами все крепче связывал «лицейский круг». Братство не слабело, а укреплялось. Это видно на одном примере. 9 июня 1817 года на выпускном акте Лицея был исполнен прощальный гимн Дельвига:

Простимся, братья! Руку в руку!  
Обнимемся в последний раз!  
Судьба на вечную разлуку,  
Быть может, здесь сроднила нас!  
Друг на друге остановите  
Вы взор с прощальною слезой!  
Храните, о друзья, храните  
Ту ж дружбу, с тою же душой,  
То ж к славе сильное стремленье,  
То ж правде – да, неправде – нет,  
В несчастье – гордое терпенье,  
А в счастье – всем равно привет!

Лицеисты первого выпуска, конечно, запомнили все стихотворение наизусть, и каждая строка из него звучала для них как пароль. Пушкин в дальнейшем несколько раз пользовался этим стихотворением Дельвига именно как паролем, позволяющим несколькими словами восстановить в сознании лицейских друзей атмосферу их юности. В стихотворении «19 октября» (1825), посвященном лицей-

ской годовщине, Пушкин, обращаясь к моряку-лицеисту Ф. Ф. Матюшкину, находившемуся в кругосветном путешествии, писал:

Ты простирал из-за моря нам руку,  
Ты нас одних в младой душе носил  
И повторял: «На долгую разлуку  
Нас тайный рок, быть может, осудил!» (II, 1, 425).

Строки:

Судьба на вечную разлуку,  
Быть может, здесь сроднила нас! –

слегка перефразированы Пушкиным, но лицеисты, конечно, их узнавали. Еще более значим другой пример: известные строки из послания «В Сибирь»:

Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье (III, 1, 49) –

были понятной отсылкой к тому же гимну Дельвига:

В несчастье – гордое терпенье.

То, что у Дельвига представляло дань общим местам элегического стиля, заполнялось у Пушкина реальным содержанием. Переезд из Царского Села в Петербург, где большинство лицеистов должно было вступить в службу – граждансскую или военную, – элегическая «вечная разлука»; кругосветное путешествие – реальная «долгая разлука»; «в несчастьи – гордое терпенье» – поэтическое общее место. «Гордое терпенье» «во глубине сибирских руд» звучало совершенно иначе. У этих поэтических цитат было и скрытое значение. Читатели, получившие в руки томик альманаха «Северные цветы» на 1827 год, где было напечатано стихотворение «19 октября», не могли знать, чьи слова вложил Пушкин в уста своему другу моряку – это было понятно лишь лицеистам. Не публиковавшееся при жизни послание «В Сибирь» обошло всю декабристскую каторгу и известно было далеко за ее пределами, но «вкус» строки о «гордом терпеньи» был до конца понятен только лицеистам – в частности Пущину и узнавшему стихотворение значительно позже Кюхельбекеру.

Так Лицей становился в сознании Пушкина идеальным царством дружбы, а лицейские друзья – идеальной аудиторией его поэзии.

Отношения Пушкина с товарищами, как уже говорилось, складывались не просто. Даже самые доброжелательные из них не могли в дальнейшем не упомянуть его глубокой ранимости, легко переходившей в дерзкое и вызывающее поведение. И. И. Пущин вспоминал: «Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то, чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенностями странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускользывают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его номера была глухая стена), часто, когда все уже засыпали, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность и это его волновало. Вместе мы, как умели, слаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется *тактом*. «Все это вместе было причиной, – заключает Пущин, – что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку». Пущин был проницательным наблюдателем. Шестилетнее непрерывное общение с Пушкиным-лицеистом позволило ему сделать исключительно точное наблюдение над характером своего друга: «Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает

тем, что полюбит даже и их в друге-товарище»<sup>1</sup>.

Нелюбимый ребенок в родной семье, рано и неравномерно развивающийся, Пушкин-юноша, видимо, был глубоко неуверен в себе. Это вызывало браваду, молодечество, стремление первенствовать. Дома его считали увальнем — он начал выше всего ставить физическую ловкость, силу, умение постоять за себя. Тот же Пущин с недоумением, не ослабевшим почти за полвека, отделявшие первую встречу с Пушкиным от времени написания записок, вспоминал, что Пушкин, который значительно опередил по начитанности и знаниям своих одноклассников, менее всего был склонен этим тщеславиться и даже ценить: «Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения, очень неловкие»<sup>2</sup>. Сам Пушкин свидетельствовал, что «появлению Музы» в его «студенческой келье» предшествовало время,

... как я поэме редкой  
Не предпочел бы мячик меткой,  
Считал сколастику за вздор  
И прыгал в сад через забор<sup>3</sup>.  
Когда порой бывал приложен,  
Порой ленив, порой упрям,  
Порой лукав, порою прям,  
Порой смирен, порой мятежен,  
Порой печален, молчалив,  
Порой сердечно говорлив (VI, 619).

Все мемуаристы единодушны в описании и оценке огромного впечатления, которое произвели на Лицей и лицеистов события 1812 года. Сошлемся снова на Пущина: «Жизнь наша лицейская сливается с политическою эпохой народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. М., 1974, с. 82–83.

<sup>2</sup> Там же, с. 74.

<sup>3</sup> Речь идет об особом молодечестве. Царь жаловался директору Лицея Энгельгарду: «Твои воспитанники ... снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей» (там же, с. 91). То, что яблоки были царские, придавало им особый вкус, а походу — опасность.

мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея»<sup>1</sup>. Впечатления этих лет, конечно, определили гражданский пафос и раннее свободолюбие многих лицеистов, включая и Пушкина. Однако события действовали на молодые умы еще в одном отношении: История со страниц учебников сама явилась на лицейский порог. Для того чтобы обессмертить свое имя и передать его потомкам, уже не нужно было родиться в баснословные времена или принадлежать к семье коронованных особ. Не только «муж судеб» сын мелкого корсиканского дворянина Наполеон Бонапарте, сделавшийся императором Франции и перекраивавший карту Европы, но и любой из молодых гвардейских офицеров, проходивших мимо ворот Лицея, чтобы пасть под Бородином, Лейпцигом или на высотах Монмартра, был «человеком истории». В одном из своих последних стихотворений (на 19 октября 1836 года) Пушкин писал:

Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидя тому, кто умирать  
Шел мимо нас... (III, I, 432).

Сдержанная стилистика зрелого Пушкина чужда поэтических украшений. «Завидя тому, кто умирать / Шел мимо нас», – не риторическая фигура, а точное описание психологических переживаний лицеистов. Героическая смерть, переходящая в историческое бессмертие, не казалась страшной – она была прекрасна. Тем сильнее переживалась обида, нанесенная возрастом. Л. Н. Толстой глубоко передал эти переживания словами Пети Ростова в «Войне и мире»: «...Все равно я не могу ничему учиться теперь, когда... – Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: – когда отечество в опасности».

Поэзия была ответом на все. Она становилась оправданием в собственных глазах и обещанием бессмертия. Именно бессмертия – такова была единственная мерка, которой мерилось достоинство стихов в пушкинском кружке. Пушкину было шестнадцать

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 81.

лет, когда Державин рукоположил его в поэты, а Дельвиг в сентябрьском номере «Российского музеума» за 1815 год приветствовал его — автора всего лишь нескольких опубликованных стихотворений — стихами:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;  
Лира выдаст его громким пением,  
И от смертных восхитит бессмертного  
Аполлон на Олимп торжествующий.

Глубокой привязанности к родителям у Пушкина не было. Однако потребность в такой привязанности, видимо, была исключительно сильна. Это наложило отпечаток на отношения Пушкина с людьми старше его по возрасту. С одной стороны, он в любую минуту был готов взбунтоваться против авторитета, снисходительность или покровительство старших были ему невыносимы. С другой, он тянулся к ним, жаждал их внимания, признание с их стороны было ему необходимо. Он хотел дружбы с ними. Культ Дружбы был неотделим от литературы предромантизма: Шиллер и Карамзин, Руссо и Батюшков создали настоящую «мифологию» дружбы. Однако литературная традиция давала лишь слово, подсказывала формы, в них отливалась глубоко личная потребность компенсировать ту нехватку душевных связей, которую ощущал юноша, не любивший вспоминать о своем детстве и семье.

Дружеские связи с лицеистами, как мы говорили, завязывались трудно. Тем более заметна тяга Пушкина к людям «взрослого» мира: к дружбе с Чаадаевым и Кавериным, арзамасцами и Карамзиным, Тургеневыми и Ф. Глинкой.

Глядя на дружеские связи Пушкина с возрастной точки зрения, мы отчетливо видим три периода. От Лицея до Одессы включительно друзья Пушкина старше его по возрасту, жизненному опыту, служебному положению. Пушкин сознательно игнорирует эту разницу. Карамзину он говорил: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе» («Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником», XII, 306). М. Орлову, герою войны 1812 года, принявшему ключи Парижа, любимцу императора и кумиру солдат, главе кишиневского общества декабристов, «он отпустил», «раз-

горячась»: «Вы рассуждаете, генерал, как старая баба» («Пушкин, вы мне говорите дерзости, берегитесь», — ответил Орлов)<sup>1</sup>. И все же дружеские связи этого периода далеки от равенства. Друзья Пушкина — почти всегда и учителя его. Одни учат его гражданской твердости и стоицизму, как Чаадаев или Ф. Глинка, другие наставляют в политической экономии, как Н. Тургенев, третьи приобщают к тайнам гусарских кутежей, как Каверин или Молостцов, четвертые, как Н. И. Кривцов, «развращают» проповедью материализма. Вопрос о влиянии Пушкина на весь этот круг лиц даже не ставится.

В 1824 году Пушкин посвятил дружбе четверостишие, окрашенное горечью:

Что дружба? Легкий пыл похмелья,  
Обиды вольный разговор,  
Обмен тщеславия, безделья  
Иль покровительства позор (II, 1, 460).

В Михайловском начинается новый период — Пушкина явно влечет к сверстникам. Именно в это время лицейские связи обретают для него новую и особую ценность, укрепляется эпистолярная дружба с Вяземским, который, хотя и несколько старше по возрасту, но никак не годится в наставники и не претендует на эту роль. В роли друга-издателя (скитаясь по ссылкам, Пушкин весьма нуждается в услугах по этой части, поскольку сам лишен возможности вести деловые переговоры) маститого наставника Гнедича сменяет приятель Плетнев. Среди политических заговорщиков Пушкина теперь привлекают «молодые»: Рылеев и Бестужев, среди поэтов — сверстники: Дельвиг, Баратынский, Языков.

В тридцатые годы в кругу друзей Пушкина появляются имена молодых, начинающих литераторов: Иван Киреевский, Погодин, Гоголь, который становится ближайшим сотрудником Пушкина, Кольцов и даже Белинский, при всем различии литературных взглядов, бытовых и культурных привычек, попадают в круг интересующих Пушкина лиц. Приятели младшего брата (Нащокин, Соболевский) становятся и его друзьями. Обновление круга друзей станет

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 351.

для Пушкина одной из черт мужественного признания вечного движения жизни.

Среди дружеских привязанностей Пушкина особое место занимал Жуковский. Глубокий и тонкий лирик, открывший тайны поэтического звучания, Жуковский отличался и другой одаренностью: это был бесспорно самый добный человек в русской литературе. Доброта, мягкость, отзывчивость тоже требуют таланта, и Жуковский обладал этим талантом в высшей мере. В годы учения Пушкина в Лицее Жуковский был уже признанным поэтом, и Пушкин свое стихотворное послание к нему (1816) начал с обращения: «Благослови, поэт...». В этих словах было сознание дистанции, отделявшей автора прославленного в 1812 году патриотического стихотворения «Певец во стане русских воинов» и вызывавших бурные споры романтических баллад отступившего на поэтический путь новичка. Однако в отношении Жуковского к начинающему поэту не было ни покровительства, столь нетерпимого Пушкиным, ни досаждавшей ему нравоучительности. Жуковский нашел верный тон — тон любящего старшего брата, при котором старшинство не мешает равенству. Это сделало дружбу Пушкина и Жуковского особенно долговечной. Правда, и здесь бывало не все гладко: Жуковский порой сбивался на нравоучение, а в последние месяцы жизни поэта утерял понимание его душевной жизни. Пушкин, в свою очередь, не скрывал творческих расхождений со своим старшим другом, порой подчеркивая их с эпиграмматической остротой. И все же среди наиболее длительных дружеских привязанностей Пушкина имя Жуковского должно быть названо рядом с именами Дельвига и Пущина.

Дружеские связи лицейского периода — с царско-сельскими гусарами, с литераторами-арзамасцами — молодыми писателями, объединявшимися вокруг знамен «нового слога» Карамзина и романтизма Жуковского, — с семьей Карамзина — давали исключительно много для формирования ума и взглядов Пушкина, его общественной и литературной позиции. Но они влияли и на характер. В гусарском кружке Пушкин мог чувствовать себя взрослым, у Карам-

зина — вдохнуть воздух семьи, домашнего уюта — того, чего сам он никогда не знал у себя дома. В неожиданном и трогательном чувстве влюбленности, которое Пушкин испытал к Екатерине Андреевне Карамзиной, женщине на девятнадцать лет старше его (более чем вдвое!), вероятно, значительное место занимала потребность именно в материнской любви. Нет оснований видеть в этом чувстве глубокую и утаенную страсть. Ю. Н. Тынянов — автор подробной работы, посвященной «безымянной любви» Пушкина к Карамзиной, — особое значение придает тому, что перед смертью Пушкин захотел видеть именно ее<sup>1</sup>. Однако, чтобы правильно осмыслять этот факт, следует назвать имена всех тех, кто вспоминался ему в эти минуты.

Тот, кому приходилось наблюдать людей, умирающих от ран в сознании, знает, с какой неожиданной силой вспыхивают у них воспоминания далекого и, казалось бы, прочно забытого детства. Пушкин не вспомнил недавно скончавшейся матери, не позвал ни отца, ни брата, ни сестры. Он вспомнил Лицей: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать». «Карамзина? Тут ли Карамзина?» — спросил Пушкин<sup>2</sup>. Он возвращался в мир лицейской жизни.

Лицей заменил Пушкину детство. Лицей был закончен — детство прошло. Началась жизнь.

Расставание с детством и вступление во «взрослую» жизнь воспринималось Пушкиным, рвущимся из Лицея, торжественно. Оно рисовалось как рукоположение в рыцарский орден Русской Литературы, клятва палладина, который отныне будет искать случая сразиться за честь своей Дамы. Для юноши, воспринимавшего рыцарскую культуру сквозь призму иронических поэм Вольтера, Ариосто и Тассо, такое «рукоположение» неизбежно выступало в двойном свете: торжественном и даже патетическом, с одной стороны, и пародийно-буффонном — с другой, причем

<sup>1</sup> Тынянов Ю. Н. Безымянная любовь. — В кн.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968, с. 217.

<sup>2</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 332, 349.

насмешка и пафос не отменяли, а оттеняли друг друга. Пушкин в Лицее был дважды рукоположен в поэты. Первое посвящение произошло 8 января 1815 года на переводном экзамене. Встреча Пушкина и Державина не имела в реальности того условно-символического (и уж, конечно, тем более, театрального) характера, который невольно ей приписываем мы, глядя назад и зная, что в лицейской зале в этот день встретились величайший русский поэт XVIII века, которому осталось лишь полтора года жизни, и самый великий из русских поэтов вообще. Державин несколько раз до этого уже «передавал» свою лиру молодым поэтам:

Тебе в наследие, Жуковской!  
Я ветху лиру отдаю;  
А я над бездной гроба скользкой  
Уж преклоняя чело стою<sup>1</sup>.

Сам Пушкин описал позже эту встречу, соединяя юмор с лиризмом: «Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?» Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига». «Державин был очень стар... Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно; глаза мутны; губы отвислы» (XII, 158). Строки эти писались почти в то же время, что и портрет старой графини в «Пиковой даме»: «Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами... В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли» (VIII, 1, 240). Совпадение это не случайно: в обоих случаях Пушкин рисует отошедший уже и отживший свое XVIII век, как бы сгустившийся в лице одного человека.

Эпизод встречи уходящего и начинаящего поэтов на одном из переводных экзаменов в Лицее вряд ли произвел ошеломляющее впечатление на современников, поглощенных рутиной ежедневных служебных, политических, придворных забот. Только тесный круг друзей, начинавших уже ценить дарование молодого поэта, мог почувствовать его значение. Но для самого Пушкина это было одно из важнейших событий жизни. Он чувствовал себя как

<sup>1</sup> Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1933, с. 386.

паж, получивший посвящение в рыцарский сан: «Наконец вызвали меня. Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отреческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...

Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять меня... Меня искали, но не нашли...» (XII, 158).

Вторым посвящением было принятие Пушкина в «Арзамас» – неофициальное литературное общество, объединявшее молодых и задорных литераторов, которые высмеивали на своих, имевших щуточный характер, заседаниях литературных староверов. Члены «Арзамаса» были поклонниками Карамзина, к Державину, в доме которого торжественно собирались литераторы-архаисты, относились иронически. Пушкин был принят в «Арзамас» осенью 1817 года, в момент, когда это общество находилось в состоянии внутреннего разлада. Для Пушкина это принятие имело глубокий смысл: его принадлежность к литературе получила общественное признание. Зачисление в боевую дружину молодых литераторов – романтиков, насмешников, гонителей «века минувшего» – подвело черту под периодом детства и годами учения. Он почувствовал себя допущенным в круг поэтов общепризнанных.



# Глава вторая

## ПЕТЕРБУРГ

### 1817-1820



# Л

ицей стал родным домом. Придут годы, когда Дом сделается для Пушкина символом самых заветных чувств и наиболее высоких ценностей Культуры. Тогда смысл жизненного пути будет рисоваться в образе *возвращения домой*. В день четвертой годовщины событий на Сенатской площади, 14 декабря

1829 года, Пушкина неудержимо потянуло домой — он отправился в Царское Село. В начатом тогда и оставшемся незаконченным стихотворении господствует образ возвращения. Не случайно стихотворение даже названием («Воспоминания в Царском Селе»<sup>1</sup>) возвращает к знаменательному для поэта лицейскому экзамену:

Воспоминаньями смущенный,  
Исполнен сладкою тоской,  
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный  
Вхожу с поникшею главой.  
Так отрок библии, безумный расточитель,  
До капли истощив раскаянья фиал,  
Увидев наконец родимую обитель,  
Главой поник и зарыдал (III, 1, 189).

В юные годы для Пушкина Дом (Лицей, Петербург) — келья и неволя. Пребывание в нем насильственно, а бегство — желанно. За стенами Дома видится простор и воля. Пока Пушкин в Лицее, простором кажется Петербург, когда он в Петербурге, — деревня. Эти представления наложат отпечаток

<sup>1</sup> Слово «воспоминания» употреблено здесь и в лицейском стихотворении в несколько разных значениях: в 1814 году поэт говорил об исторических воспоминаниях, которые вызывают памятники Царского Села, в 1829 году — о личных и исторических.

даже на южную ссылку, которая в сознании поэта, неожиданно для нас, иногда будет рисоваться в виде не насильтственного изгнания, а добровольного бегства из неволи на волю. А перед читателем и перед самим собой Пушкин предстает в образе Беглеца, добровольного Изгнанника. Иногда этот образ, почерпнутый из арсенала образов европейского романтизма, будет иметь реальное биографическое содержание, и за стихами:

Презрев и голос (?) укоризны,  
И зовы сладостных надежд,  
Иду в чужбине прах отчизны  
С дорожных отряхнуть одежду (II, 1, 349) –

стояли реальные планы «взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь» (XIII, 86). Однако чаще перед нами поэтическое осмысление, трансформирующее реальность. В жизненной прозе – насильтственная ссылка на юг, в стихах:

Искатель новых впечатлений,  
Я вас бежал, отечески края ... (II, 1, 147).

В поэзии Лицей – брошенный монастырь, Петербург – блестящая и заманчивая цель бегства. В реальной жизни все иначе: родители поэта переехали в Петербург, и Пушкин возвращается из Лицея домой; интересно, что дом в Коломне «у Покрова», на Фонтанке в доме Клокачева, как и вообще впечатления этой окраины, где, по выражению Гоголя, «всё тишина и отставка», отзавшиеся позже в «Домике в Коломне» и «Медном всаднике», для творчества Пушкина 1817–1820 годов не существуют; из Лицея Пушкин писал послания сестре – в поэзии петербургского периода ни сестра, ни какие-либо другие «домашние» темы не упоминаются.

В Петербурге Пушкин жил с начала июня 1817 года (9 июня состоялся выпускной акт Лицея, 11 того же месяца он уже был в Петербурге) по 6 мая 1820 года, когда он выехал по царскосельской дороге, направляясь в южную ссылку. Планы военной службы, которые Пушкин лелеял в своем воображении, пришло оставить: отец, опасаясь расходов (служба в гвардии требовала больших трат), настоял

на гражданской. Пушкин был зачислен в Коллегию иностранных дел и 13 июня приведен к присяге (в тот же день, что и Кюхельбекер и Грибоедов).

Петербург закружил Пушкина. В широком черном фраке с нескошенными фалдами (такой фрак назывался *à l'américaine*; нарочитая грубость его была верхом щегольской утонченности) и в широкой шляпе *à la bolivar* (поля такой шляпы бывали «так широки, что невозможно было пройти в узкую дверь, не снимая с головы» ее<sup>1</sup>) он спешит вознаградить себя за вынужденное шестилетнее уединение.

В жизни Пушкина бывали периоды, когда книга составляла для него любимое общество, а уединение и сосредоточенность мысли — лучшее занятие. 1817—1820 годы резко отличны от этих периодов. И дело здесь не только в том, что неистраченные силы молодого поэта бурно искали себе исхода. В унисон с ними кипела и бурлила молодая Россия. Годы эти имеют в русской истории особую, ни с чем не сравнимую физиономию. Счастливое окончание войн с Наполеоном разбудило в обществе чувство собственной силы. Право на общественную активность казалось достигнутым бесповоротно. Молодые люди полны были жажды деятельности и веры в ее возможность в России. Конфликт на этом пути с правительством и «стариками» уже вырисовывался довольно ясно, но никто еще не верил в его трагический характер. Характерной чертой времени явилось стремление объединить усилия. Даже чтение книги — занятие, традиционно в истории культуры связывавшееся с уединением, — производится сообща. В начале XVIII века Кантемир писал о чтении:

... запруся  
В чулан, для мертвых друзей — живущих лишуся.

В конце 1810-х — начале 1820-х годов в России чтение — форма дружеского общения; читают вместе так же, как и думают, спорят, пьют, обсуждают меры правительства или театральные новости. Пуш-

<sup>1</sup> Пыллев М. И. Старое житье. Очерки и рассказы. СПб., 1892, с. 104.

кин, обращаясь к гусару Я. Сабурову, поставил в один ряд

... с Кавериным гулял,  
Бранил Россию с Молостовым,  
С моим Чедаевым читал (II, I, 350).

П. П. Каверин — геттингенец, гусар, кутила и дуэлянт, член Союза Благоденствия. Он «гулял» (т. е. кутил) не только с Пушкиным, но и «пускал пробку в потолок» с Онегиным в модном ресторане Талон на Невском. П. Х. Молостов — лейб-гусар, оригинал и либерал. Чтение так же требует компаньона, как веселье или беседа. Характер такого чтения прекрасно иллюстрирует рассказ декабриста И. Д. Якушкина. Он познакомился с полковником П. Х. Граббе в 1818 году. Во время их разговора денщик принес Граббе гусарский мундир: долман и ментик — тот собирался ехать представиться Аракчееву. «Разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При этом чтении Граббе видимо (т. е. «заметно». — Ю. Л.) воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе; потом он уже никогда не бывал у Аракчеева»<sup>1</sup>.

Стремление к содружеству, сообществу, братскому единению составляет характерную черту поведения и Пушкина этих лет. Энергия, с которой он связывает себя с различными литературными и дружескими кружками, способна вызвать удивление. Следует отметить одну интересную черту: каждый из кружков, привлекающих внимание Пушкина в эти годы, имеет определенное литературно-политическое лицо, в него входят люди, обстрелянные в литературных спорах или покрытые боевыми шрамами; вкусы и взгляды их уже определились, суждения и цели категоричны. Принадлежность к одному

<sup>1</sup> Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951, с. 20.

кружку, как правило, исключает участие в другом. Пушкин в их кругу выделяется как ищущий среди нашедших. Дело не только в возрасте, а в глубоко свойственном Пушкину на протяжении всей его жизни — пока еще стихийном — уклонении от всякой односторонности: входя в тот или иной круг, он с такой же легкостью, с какой в лицейской лирике усваивал стили русской поэзии, усваивает господствующий стиль кружка, характер поведения и речи его участников. Но чем блистательнее в том или ином из лицейских стихотворений овладение уже сложившимися стилистическими, жанровыми нормами, тем более в нем проявляется собственно пушкинское. Нечто сходное произошло в 1817—1820 годах в сфере построения поэтом своей личности. С необычной легкостью усваивая «условия игры», принятые в том или ином кружке, включаясь в стиль дружеского общения, предлагаемый тем или иным из собеседников-наставников, Пушкин не растворяется в чужих характерах и нормах. Он ищет *себя*.

Способность Пушкина меняться, переходя от одного круга к другому, и искать общения с совершенно разными людьми не всегда встречала одобрение в кругу декабристов. Даже близкий друг И. И. Пущин писал: «Пушкин, либеральный по своим взглядам, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других (...) Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом: ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь, — Пушкин опять с тогдашними львами!»<sup>1</sup>.

А. Ф. Орлов — брат декабриста, — которому в это время едва перевалило за тридцать, сын Екатерининского вельможи, начавший военное поприще под Аустерлицем (золотая сабля «за храбрость»), полу-

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 98.

чивший семь ран на Бородинском поле, в тридцать лет генерал-майор, командир конногвардейского полка, любимец императора, мог о многом порассказать. А. И. Чернышев, на год моложе Орлова, тоже имел за плечами богатый жизненный опыт: много-кратные, многочасовые беседы с Наполеоном, прекрасное личное знание всего окружения французского императора делали этого генерал-адъютанта также интересным собеседником. П. Д. Киселев — умный и ловкий честолюбец, быстро делающий карьеру, только что, тридцати одного года от роду, произведенный в генерал-майоры, человек, умевший одновременно быть самым доверенным лицом императора Александра и ближайшим другом Пестеля. Все они, в духе деятелейalexандровского времени, не чуждались «законно-свободных» идей, все трое сделялись потом преуспевающими бюрократами.

Однако именно это свидетельство Пущина позволяет утверждать, что Пушкин был в этом кругу не восхищенным мальчиком, а пытливым наблюдателем. Киселева не смог раскусить даже проницательный Пестель, поверивший в искренность его дружбы и свободомыслия и поплатившийся за это жизнью, а двадцатилетний Пушкин писал о нем в послании А. Ф. Орлову:

На генерала Киселева  
Не положу своих надежд,  
Он очень мил, о том ни слова  
Он враг коварства <в беловом автографе определенее:  
«тиранов». — Ю. Л.> и невежд...

...Но он придворный: обещанья  
Ему не стоят ничего (II, 1, 85 и 561).

В Лицее Пушкин, заочно избранный в «Арзамас» и получивший там условное имя «Сверчка», рвался к реальному участию в деятельности этого общества. Однако, когда это желание осуществилось, чисто литературное направление «Арзамаса» в эпоху возникновения Союза Благоденствия стало уже анахронизмом. В феврале — апреле 1817 года в «Арзамас» вступили Н. Тургенев и М. Орлов, а осенью — Н. Муравьев. Все они были активными членами конспиративных политических групп, все рассматривали ли-

тературу не как самостоятельную ценность, а только как средство политической пропаганды. Активизировались к этому времени и политические интересы «старых» арзамасцев: П. А. Вяземского, Д. В. Да-выдова. Показательна запись в дневнике Н. И. Тургенева от 29 сентября 1817 года: «Третьего дня был у нас Арзамас. Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство»<sup>1</sup>. На этом заседании, видимо, присутствовал и Пушкин.

«Арзамас» не был готов к политической активности и распался. Однако, видимо, именно здесь Пушкин сблизился с Николаем Тургеневым и Михаилом Орловым, связи с которыми в этот период решительно оттеснили старые литературные привязанности и дружбы. Карамзин, Жуковский, Батюшков — борцы за изящество языка и за «новый слог», герои литературных сражений с «Беседой» — померкли перед проповедниками свободы и гражданских добродетелей.

Особую роль в жизни Пушкина этих лет сыграл Николай Тургенев. Он был на десять лет старше Пушкина. Унаследовав от отца-масона суровые этические принципы и глубокую религиозность, Н. И. Тургенев сочетал твердый, склонный к доктринерству и сухости ум с самой экзальтированной, хотя и несколько книжной, любовью к России и русскому народу. Борьба с рабством («хамством», как он выражался на своем специфическом политическом лексиконе) была идеей, которую он пронес через всю жизнь. Если его старший брат, Александр, отличался мягкостью характера и либерализм его выражался, главным образом, в терпимости, готовности принять чужую точку зрения, то Николай Тургенев был нетерпим, требовал от людей бескомпромиссности, в решениях был резок, в разговорах насмешлив и категоричен. Здесь, в квартире Тургенева, Пушкин был постоянным гостем. Политические взгляды Н. Тургенева в эти годы в основном совпадали с настроениями умеренного крыла Союза Благоденствия, в который он вступил во второй половине

<sup>1</sup> Архив бр. Тургеневых, вып. 5. Птг., 1921, с. 93.

1818 года. Освобождения крестьян он надеялся добиться с помощью правительства.

В добрые намерения царя уже не верили. Но члены Союза Благоденствия возлагали надежды на давление со стороны передовой общественности, которому Александр I, хочет он этого или нет, вынужден будет уступить. Для этой цели Союз Благоденствия считал необходимым создать в России общественное мнение, которым бы руководили политические заговорщики через посредство литературы и публицистики. Литературе, таким образом, отводилась подчиненная роль. Чисто художественные проблемы мало волновали Н. Тургенева. В 1819 году он писал: «Где русский может почерпнуть нужные для сего правила гражданственности? Наша словесность ограничивается доныне почти одною поэзией. Сочинения в прозе не касаются до предметов политики». И далее: «Поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей»<sup>1</sup>.

Геттингенец, дипломат и государственный деятель, автор книги по политической экономии, Н. Тургенев смотрел на поэзию несколько свысока, допуская исключение лишь для агитационно-полезной, политической лирики. Эти воззрения он старался внушить и Пушкину. С ним был совершенно согласен и его младший брат, начинающий дипломат Сергей, размышлявший в своем дневнике: «Жуковский писал мне, что, судя по портрету, видит он, что в глазах моих блестят либеральные идеи. Он поэт, но я ему скажу по правде, что пропадет талант его, если не всему либеральному посвятит он его. Только такими стихами можно теперь заслужить бессмертие... Мне опять пишут о Пушкине, как о развертывающемся таланте. Ах, да поспешат ему вдохнуть либеральность и вместо оплакиваний самого себя пусть первая его песнь будет: С в о б о д е»<sup>2</sup>. «Оплакивание самого себя» — элегическая поэзия, к которой Тургеневы, как и большинство декабристов, относились сурово.

<sup>1</sup> «Русский библиофила», 1914, № 5, с. 17.

<sup>2</sup> Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М. — Л., 1936, с. 59.

Влияние Н. И. Тургенева отчетливо сказалось в стихотворении Пушкина «Деревня». Характерно с этой точки зрения и начало оды «Вольность» — демонстративный отказ от любовной поэзии и обращение к вольнолюбивой Музе. Не следует, конечно, понимать это влияние слишком прямолинейно — идея осуждения любовной поэзии и противопоставление ей поэзии политической была почти всеобщей в декабристских и близких к ним кругах. Вяземский, шедший другой, вполне самобытной дорогой, в стихотворении «Негодование» выразил ту же мысль и в весьма сходных образах:

И я сорвал с чела, наморщенного думой,  
Бездушных радостей венок...  
... Мой Аполлон — негодованье!  
При пламени его с свободных уст моих  
Падет бесчестное молчанье  
И загорится смелый стих.

У Пушкина:

Приди, сорви с меня венок,  
Разбей изнеженную лиру...  
Хочу воспеть Свободу миру,  
На тронах поразить порок (II, I, 45).

Оду «Вольность» роднит с идеями Н. Тургенева не только противопоставление любовной и политической поэзии, но весь круг идей, отношение к французской революции и русскому самодержавию. Ода «Вольность» выражала политические концепции Союза Благоденствия, и воззрения Н. И. Тургенева отразились в ней непосредственным образом<sup>1</sup>.

Н. И. Тургенев был суровым моралистом — не все в пушкинском поведении и пушкинской поэзии его удовлетворяло. Резкие выходки Пушкина против правительства, эпиграммы и легкомысленное отношение к службе (сам Н. Тургенев занимал ответственные должности и в Государственном совете и в министерстве финансов и относился к службе весьма серьезно) заставляли его «ругать и усовещивать» Пушкина. По словам А. И. Тургенева, он «не раз

<sup>1</sup> Существует вполне правдоподобная биографическая легенда, согласно которой ода «Вольность» была начата по предложению Н. И. Тургенева, в его квартире, из окон которой виден Михайловский дворец — место гибели Павла I (подробнее см.: Томашевский Б. Пушкин, кн. 1. М. — Л., 1956, с. 147 — 148).

давал чувствовать» Пушкину, «что нельзя брать ни за что жалование и ругать того, кто дает его», а осуждение поэта «за его тогдашние эпиграммы и пр. против правительства» однажды, во время разговора на квартире Тургеневых, приняло столь острые формы, что Пушкин вызвал Н. И. Тургенева на дуэль, правда, тут же одумался и с извинением взял вызов обратно<sup>1</sup>.

Николай Тургенев не был единственным связующим звеном между Пушкиным и Союзом Благоденствия. Видимо, осенью 1817 года Пушкин познакомился с Федором Николаевичем Глинкой. Глинка происходил из небогатого, но старого рода смоленских дворян. Небольшого роста, болезненный с детства, он отличался исключительной храбростью на войне (вся его грудь была покрыта русскими и иностранными орденами) и крайним человеколюбием. Даже Сперанский, сам выгляделший на фоне деятелей типа Аракчеева как образец чувствительности, пенял Глинке за неуместную в условиях русской действительности впечатлительность, говоря: «На погoste всех не оплачешь!» Глинка был известным литератором и весьма активным деятелем тайных декабристских организаций на раннем этапе их существования. Совместная роль одного из руководителей Союза Благоденствия и адъютанта, прикомандированного для особых поручений к Петербургскому военному генерал-губернатору Милорадовичу, Глинка оказал важные услуги тайным обществам, а также сильно способствовал смягчению участия Пушкина в 1820 году.

В 1819 году Глинка был избран председателем Вольного общества любителей российской словесности в Петербурге, которому предстояло сыграть исключительную роль в сплочении литераторов декабристской ориентации. Пушкин испытал сильное влияние личности Глинки — человека высокой душевной чистоты и твердости. В определенной мере Глинка втягивал Пушкина в легальную деятельность, исподволь руководимую конспиративными обществами. Намечаются и другие точки соприкосновения

<sup>1</sup> Памяти декабристов, т. II. Л., 1926, с. 122.

Пушкина с Союзом Благоденствия. Еще в Лицее Пушкин познакомился с Никитой Муравьевым. Когда в 1817 году знакомство это возобновилось в связи с вступлением Муравьева в «Арзамас», тот уже был одним из организаторов первого тайного общества декабристов — Союза Спасения. Видимо, через Никиту Муравьева Пушкин был привлечен к участию в тех заседаниях Союза Благоденствия, которые не имели строго конспиративного характера и должны были способствовать распространению влияния общества. Много лет спустя, работая над десятой главой «Евгения Онегина», Пушкин рисовал такое заседание:

Витийством резким знамениты,  
Сбирались члены сей семьи  
У беспокойного Никиты,  
У осторожного Ильи.  
Друг Марса, Ваюха и Венеры,  
Им резко Лун<sup>ин</sup> предлагал  
Свои решительные меры  
И вдохновенно бормотал.  
Читал сво<sup>и</sup> Ноэли Пу<sup>шкин</sup>,  
Мела<sup>ххолический</sup> Як<sup>ушкин</sup>,  
Казалось, молча обнажал  
Цареубийственный кинжал (VI, 524).

Стихи эти длительное время казались плодом поэтического вымысла: участие Пушкина в заседаниях такого рода представлялось невозможным. Однако в 1952 году М. В. Нечкина опубликовала показания на следствии декабриста И. Н. Горсткина, который сообщил (надо, конечно, учесть вполне понятное в тактическом отношении стремление Горсткина принизить значение описываемых встреч): «Стали собираться сначала охотно, потом с трудом собирается человек десять, я был раза два-три у к<sup>нязя</sup> Ильи Долгорукого, который был, кажется, один из главных в то время. У него Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остротой, рассказывали всякий вздор, читали, иные шептали, и все тут; общего разговора никогда нигде не бывало (...) бывал я на вечерах у Никиты Муравьева, тут встречал ча-стенько лица, отнюдь не принадлежавшие обществу»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> «Лит. наследство», 1952, т. 58, с. 158–159.

Если добавить, что названные в строфе Лунин и Якушкин – видные деятели декабристского движения – также были в эти годы знакомцами Пушкина (с Луниным он познакомился 19 ноября 1818 года во время проводов уезжавшего в Италию Батюшкова и так близко сошелся, что в 1820 году перед отъездом Лунина отрезал у него на память прядь волос; с Якушкиным Пушкина познакомил Чаадаев), картина декабристских связей Пушкина делается достаточно ясной. Однако она будет не совсем закончена, если мы не обратимся к еще одной стороне вопроса.

Мы уже говорили о том, что нравственный идеал Союза Благоденствия был окрашен в тона героического аскетизма. Истинный гражданин мыслится как суровый герой, отказавшийся ради общего блага от счастья, веселья, дружеских пиров. Проникнутый чувством любви к родине, он не растратывает своих душевных сил на любовные увлечения. Не только изящно-эротическая поэзия, но и «неземные» любовные элегии Жуковского вызывают у него осуждение: они расслабляют душу гражданина и бесполезны для дела Свободы. Рылеев писал:

Любовь никак нейдет на ум:  
Увы! моя отчизна страждет,—  
Душа в волненьи тяжких дум  
Теперь одной свободы жаждет.

В. Ф. Раевский позже, в Кишиневе, уже сидя в Тираспольской крепости, призывал Пушкина:

Любовь ли петь, где брызжет кровь.

Этика героического самоотречения, противопоставлявшая гражданина поэту, героя – любовнику и Свободу – Счастью, была свойственна широкому кругу свободолюбцев – от Робеспьера до Шиллера. Однако были и другие этические представления: Просвещение XVIII века в борьбе с христианским аскетизмом создало иную концепцию Свободы. Свобода не противопоставлялась Счастью, а совпадала с ним. Истинно свободный человек – это человек кипящих страстей, раскрепощенных внутренних сил, имеющий дерзость желать и добиваться желанного, поэт и любовник. Свобода – это жизнь, не умеющая

щаяся ни в какие рамки, бывающая через край, а самоограничение – разновидность духовного рабства. Свободное общество не может быть построено на основе аскетизма, самоотречения отдельной личности. Напротив, именно оно обеспечит личности неслыханную полноту и расцвет.

Пушкин был исключительно глубоко и органично связан с культурой Просвещения XVIII века. В этом отношении из русских писателей его столетия с ним можно сопоставить лишь Герцена. В органическом пушкинском жизнелюбии невозможно отделить черты личного темперамента от теоретической позиции. Показательно, что почти одновременно с одой «Вольность», ясно выражавшей концепцию героического аскетизма, Пушкин написал мадригал Голицыной «Краев чужих неопытный любитель...», в котором даны как равноценные два высоких человеческих идеала:

... гражданин с душою благородной,  
Возвышенной и пламенно свободной

и

... женщина – не с хладной красотой,  
Но с пламенной, пленительной, живой (II, 1, 43).

Печать Свободы почиет на обоих.

Такой взгляд накладывал отпечаток на личное, бытовое поведение поэта. Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой. И если Любовь была как бы знаком этого непрерывного жизненного горения, то Шалость и Лень становились условными обозначениями неподчинения мертвленной дисциплине государственного бюрократизма. Чинному порядку делового Петербурга они противостояли как протест против условных норм приличия и как отказ принимать всерьез весь мир государственных ценностей. Однако одновременно они противостояли и серьезности гражданского пафоса декабристской этики.

Граница между декабристами и близкими к ним либерально-молодежными кругами делила надвое и сферу этики, и область непосредственных жизненно-бытовых привычек, стиль каждого дня существования.

вания. Филантроп и бессребреник Федор Глинка покрывался вместо одеяла шинелью и, если надо было выкупить на волю какого-нибудь крепостного артиста, отказывал себе в чае и переходил на кипяток. Его лозунгом была суровая бедность и труд.

Дельвиг и Баратынский тоже были бедны:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,  
Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом.

Тихо жили они, за квартиру платили не много,  
В лавочку были должны, дома обедали редко.

Однако их лозунгом была веселая бедность и лень. Для Дельвига, Баратынского и поэтов их круга веселье было лишь литературной позой: Баратынский, меланхолик в жизни, написал поэму «Пир», прославлявшую беззаботное веселье. Самоотреченный мечтатель в поэзии, Жуковский в быту был уравновешеннее и веселее, чем гедонист в поэзии и больной неудачник в жизни Батюшков. Пушкин же сделал «поэтическое» поведение нормой для реального. Поэтическая шалость и бытовое «бунтарство» стали обычной чертой его жизненного поведения.

Окружающие Пушкина опекуны и наставники – от Карамзина до Н. Тургенева – не могли понять, что он прокладывает новый и *свой* путь: с их точки зрения он просто сбивался с пути. Блеск пушкинского таланта ослеплял, и поэты, общественные и культурные деятели старшего поколения считали своим долгом сохранить это дарование для России. Они полагали необходимым направить его по привычному и понятному пути. Непривычное казалось беспутным. Вокруг Пушкина было много доброжелателей и очень мало людей, которые бы его понимали. Пушкин уставал от нравоучений, от того, что его все еще считают мальчиком, и порой всем назло аффектировал мальчишество своего поведения.

Жуковский говорил в Арзамасе: «Сверчок, закопавшись в щелку проказы, оттуда кричит, как в стихах: «я ленюсь!» (показательно убеждение, что «в стихах» дозволено то поведение, которое запрещено в жизни)<sup>1</sup>. А. И. Тургенев, по собственным

<sup>1</sup> Отчет имп. Публичной библиотеки за 1884 г. СПб., 1887, с. 158, прил.

словам, ежедневно бранцил Пушкина за «кленость и нерадение о собственном образовании. К этому присоединились и вкус к площадному волокитству, и вольнодумство, также площадное, 18 столетия»<sup>1</sup>. Батюшков писал А. И. Тургеневу: «Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою»<sup>2</sup>.

Что такое «шалости» молодежи пушкинского круга, показывает «Зеленая лампа». Это дружеское литературно-театральное общество возникло весной 1819 года. Собиралась «Зеленая лампа» в доме Никиты Всеяловского. О собраниях в доме Всеяловского в обществе носились туманные сплетни, и сознанию первых биографов Пушкина оно рисовалось в контурах какого-то сборища развратной молодежи, устраивающей оргии. Публикации протоколов и других материалов заседаний заставили решительно отбросить эту версию. Участие в руководстве «Зеленои лампы» таких людей, как Ф. Глинка, С. Трубецкой и Я. Толстой, – активных деятелей декабристского движения – достаточный аргумент, чтобы говорить о серьезном и общественно значимом характере заседаний. Опубликование прочитанных на заседании сочинений и анализ исторических и литературных интересов «Зеленои лампы»<sup>3</sup> окончательно закрешили представление о связи этой организации с декабристским движением.

Впечатление от этих данных было столь велико, что в исследовательской литературе сложилось представление о «Зеленои лампе» как просто легальном филиале Союза Благоденствия (создание подобных филиалов поощрялось уставом Союза). Но такое представление упрощает картину. Бессспорно «Зеленая лампа» была в поле зрения Союза, который, видимо, стремился распространить на нее свое влияние. Однако ее направление было не вполне однородно с серьезным, проникнутым атмосферой нравственной строгости и гражданского служения Союзом

<sup>1</sup> Комментарий Б. Л. Модзалевского в кн.: *Пушкин. Письма*, т. 1. М., 1926, с. 191.

<sup>2</sup> «Русский архив», 1867, № 11, стб. 1534.

<sup>3</sup> См.: *Томашевский Б. Пушкин*, кн. 1 (1813–1824). М.–Л., 1956, с. 193–234.

Благоденствия. «Зеленая лампа» соединяла свободолюбие и серьезные интересы с атмосферой игры, буйного веселья, демонстративного вызова «серьезному» миру. Бунтарство, вольнодумство пронизывают связанные с «Зеленой лампой» стихотворения и письма Пушкина. Однако все они имеют самый озорной характер, решительно чуждый серьезности Союза Благоденствия.

Другу по «Лампе» П. Б. Мансурову, уехавшему по службе в аракчеевский Новгород (под Новгородом находились военные поселения), Пушкин писал 27 октября 1819 года: «Зеленая Лампа нагорела — кажется гаснет — а жаль — масло есть (т. е. шампанское нашего друга). Пишишь ли ты, мой собрат — напишишь ли мне, мой холосенькой. Поговори мне о себе — о военных поселеньях. Это все мне нужно — потому что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм. Прощай, лапочка» и подпись: «Свер(чок) А. Пушкин» (XIII, 11). Это сочетание «ненавижу деспотизм» с «холосенькой», «лапочка» (и другие выражения, еще значительно более свободные) характерно для «Зеленой лампы», но решительно чуждо духу декабристского подполья.

Непонимание особенности пушкинской позиции рождало в конспиративных кругах представление о том, что он еще «незрел» и не заслуживает доверия. И если люди, лично знавшие Пушкина и любившие его, смягчали этот приговор утешающими рассуждениями о том, что будучи вне тайного общества Пушкин способствует своими стихами делу свободы (Пущин), или ссылкой на необходимость оберегать его талант от опасностей, связанных с непосредственной революционной борьбой (Рылеев-то себя не берег!), то до людей декабристской периферии, лично с Пушкиным не знакомых и питающих слухами из третьих рук, доходили толки такого рода: «Он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества»<sup>1</sup>. Эти слова вопиющей несправедливости сказал И. И. Горбачевский — декабрист редкой стой-

<sup>1</sup> Горбачевский И. И. Записки декабриста. М., 1916, с. 300.

кости, честный и мужественный человек. При этом он сослался на такие святые для декабристов авторитеты, как мнение повешенных С. Муравьева-Апостола и М. Бестужева-Рюмина. Михаил Бестужев, чьи пометки покрывают рукопись, вполне с этим согласился.

Союз Благоденствия не был достаточно конспиративной организацией в значении, придававшемся этому слову в последующей революционной традиции: о существовании его было широко известно. Характерно, что когда М. Орлов попросил у генерала Н. Н. Раевского руки его дочери, будущий тестя условием брака поставил выход Орлова из тайного общества. Следовательно, Раевский знал не только о существовании общества, но и о том, кто является его членами, и обсуждал этот вопрос так, как перед женитьбой обсуждали вопросы приданого.

Постоянно соприкасаясь с участниками тайного общества, Пушкин, конечно, знал о его существовании и явно стремился войти в его круг. То, что он не получал приглашения и даже наталкивался на вежливый, но твердый отпор со стороны столь близких ему людей, как Пущин, конечно, его безмерно уязвляло. Если мы не будем учитывать того, в какой мере он был задет и травмирован, с одной стороны, назойливыми поучениями наставников, с другой — недоверием друзей, для нас останется загадкой лихорадочная нервозность, напряженность, характерные для душевного состояния Пушкина этих лет. Они выражаются, например, в том, что он в любую минуту ожидает обид и постоянно готов ответить на них вызовом на дуэль. Летом 1817 года он по ничтожному поводу вызывал на дуэль старика дядю С. И. Ганнибала, вызывал на поединок Н. Тургенева, однокурсника по Лицею М. Корфа, майора Денисевича и, видимо, многих других. Е. А. Карамзина писала брату, Вяземскому: «У г. Пушкина всякий день дуэли; слава богу, не смертоносные»<sup>1</sup>. Не все дуэли удавалось уладить, не доводя дела до «поля чести»: осенью 1819 года Пушкин стрелялся с Кюхельбекером (по

<sup>1</sup> Старина и новизна, кн. I, 1897, с. 98.

вызову последнего), оба выстрелили в воздух (дело кончилось дружеским примирением). Позднее он признавался Ф. Н. Лугинину, что в Петербурге имел серьезную дуэль (есть предположение, что противником его был Рылеев).

В этот период душевной смуты спасительным для Пушкина оказалось сближение с П. Я. Чаадаевым.

Петр Яковлевич Чаадаев, с которым Пушкин познакомился еще лицеистом в доме Карамзина, был одним из замечательнейших людей своего времени. Получивший блестящее домашнее образование, выросший в обстановке культурного аристократического гнезда в доме историка М. М. Щербатова, который приходился ему дедом, Чаадаев шестнадцати лет вступил в гвардейский Семеновский полк, с которым проделал путь от Бородина до Парижа. В интересующие нас сейчас годы он числился в лейб-гвардии гусарском полку, был адъютантом командира гв. корпуса Васильчикова и квартировал в Демутовом трактире<sup>1</sup> в Петербурге. «Чаадаев был красив собою, отличался не гусарскими, а какими-то английскими, чуть ли даже не байроновскими манерами и имел блестательный успех в тогдашнем петербургском обществе»<sup>2</sup>.

Чаадаев был членом Союза Благоденствия, но не проявлял в нем активности: тактика медленной пропаганды, распространение свободолюбивых идей и дела филантропии его, видимо, привлекали мало. Чаадаев охвачен жаждой славы — славы огромной, неслыханной, славы, которая навсегда внесет его имя в скрижали истории России и Европы. Пример Наполеона кружил ему голову, а мысль о своем избранничестве, об ожидающем его исключительном жребии не покидала всю жизнь. Его манил путь русского Брута или русского маркиза Позы<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> Гостиница на Мойке, близ Невского проспекта.

<sup>2</sup> Свербеев Д. Н. Записки, т. 2, М., 1899, с. 386.

<sup>3</sup> Брут — политический деятель в Древнем Риме, один из организаторов убийства Цезаря; в литературе XVIII — нач. XIX в. образ героя-республиканца. Маркиз Поза — герой трагедии Шиллера «Дон Карлос», республиканец, пытающийся повлиять на тирана.

не столь уж существенна разница, заколоть ли тирана кинжалом во имя свободы или увлечь его пламенной проповедью за собой; важно другое — впереди должна быть борьба за свободу, героическая гибель и бессмертная слава.

В кабинете Чаадаева:

Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель  
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель (II, 1, 189)

— как писал Пушкин в 1821 году — поэта охватывала атмосфера величия.

Чаадаев учил Пушкина готовиться к великому будущему и уважать в себе человека, имя которого принадлежит потомству. Чаадаев тоже давал Пушкину уроки и требовал от него «в просвещении стать с веком наравне». Однако поучения его ставили Пушкина в положение не школьника, а героя. Они не унижали, а возвышали Пушкина в собственных глазах.

Великое будущее, готовиться к которому Чаадаев призывал Пушкина, лишь отчасти было связано с поэзией: в кабинете Демутова трактира, видимо, речь шла и о том, чтобы повторить в России подвиг Брута и Кассия — ударом меча освободить родину от тирана. Декабрист Якушкин рассказал в своих мемуарах о том, что, когда в 1821 году в Каменке декабристы, для того чтобы отвести подозрения А. Н. Раевского (сына генерала), разыграли сцену организации тайного общества и тут же обратили все в шутку, Пушкин с горечью воскликнул: «Я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой»<sup>1</sup>. «Жизнь, облагороженная высокою целью», «цель великодушная» (XIII, 241) — за этими словами Пушкина стоит мечта о великом предназначении. Даже гибель — предмет зависти, если она связана с поприщем, на котором человек «принадлежит истории». Беседы с Чаадаевым учили Пушкина видеть и свою жизнь «облагороженной высокою целью». Только обстановкой разговоров о тираноубийстве может объяснить гордые слова:

<sup>1</sup> Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951, с. 43.

И на обломках самовластья  
Напишут наши имена! (II, 1, 72).

Почему на обломках русского самодержавия должны написать имена Чаадаева, «двадцатилетнего с небольшим молодого человека, который ничего не написал, ни на каком поприще ничем себя не отличил», как ядовито писал о нем один из мемуаристов, и Пушкина, ничем еще о себе не заявившего в политической жизни и даже не допущенного в круг русских конспираторов? Странность этих стихов для нас скрадывается тем, что в них мы видим обращение ко всей свободолюбивой молодежи, а Пушкина воспринимаем в лучах его последующей славы. Но в 1818—1820 годах (стихотворение датируется приблизительно) оно может быть понято лишь в свете героических и честолюбивых планов.

Именно в этих планах Пушкин нашел точку опоры в одну из самых горьких минут своей жизни. Многочисленные свидетельства современников подтверждают обаяние Пушкина, его одаренность в дружбе и талантливость в любви. Но он умел возбуждать и ненависть, и у него всегда были враги. В Петербурге 1819—1820 годов нашлось достаточно людей, добровольно доносивших правительству о стихах, словах и выходках Пушкина. Особенно усердствовал В. Н. Каразин — беспокойный и завистливый человек, одержимый честолюбием. Чужая слава вызывала у него искреннее страдание. Доносы его, доведенные до сведения Александра I, были тем более ядовиты, что Пушкин представлял в них личным оскорбителем царя, а мнительный и злопамятный Александр мог простить самые смелые мысли, но никогда не прощал и не забывал личных обид.

19 апреля 1820 года Карамзин писал Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным, если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменем Либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала Полиция etc. Опасаются следствий»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 286—287.

В то время, когда решалась судьба Пушкина и друзья хлопотали за поэта перед императором, по Петербургу поползла гнусная сплетня о том, что поэт был секретно, по приказанию правительства, высечен. Распустил ее известный авантюрист, бретер, картежник Ф. И. Толстой («Американец»). Пушкин не знал источника клеветы и был совершенно потрясен, считая себя бесповоротно опозоренным, а жизнь свою — уничтоженной. Не зная, на что решиться, — покончить ли с собой или убить императора как косвенного виновника сплетни, — он бросился к Чаадаеву. Здесь он нашел успокоение: Чаадаев доказал ему, что человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей.

В минуту гибели над бездной потаенной  
Ты поддержал меня недремлющей рукой;  
Ты другу возвратил надежду и покой;  
Во глубину души вникая строгим взором,  
Ты оживлял ее советом иль укором;  
Твой жар воспламенял к высокому любовь;  
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;  
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,  
Умел я презирать, умея ненавидеть (II, 1, 188).

Хлопоты Карамзина, Чаадаева, Ф. Глинки несколько облегчили участь Пушкина: ни Сибирь, ни Соловки не стали местом его ссылки. 6 мая 1820 года он выехал из Петербурга на юг с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта И. Н. Инзова.





## Глава третья

ЮГ

1820-1824

П

ушкин направлялся в Екатеринослав (ныне Днепропетровск), где в это время находилась резиденция начальника иностранных колонистов на юге России Инзова, к чьей канцелярии он был причислен (Инзов вскоре был назначен исполнять должность наместника Бессарабии, а затем и

Новороссийского края, в его руках сосредоточилась огромная административная власть). Формально Пушкин не был сослан: отъезду был придан характер служебного перевода. Однако начальник Пушкина (Пушкин служил по министерству иностранных дел), либеральный министр граф Каподистрия по требованию императора изложил Инзову в письме все «вины» молодого поэта. Мера эта, однако, возымела обратное действие: Инзов, побочный брат масона и друга Н. И. Новикова Н. Н. Трубецкого, воспитанный в нравственной атмосфере новиковского кружка, соединял истинную храбрость (он участвовал в десятках сражений под командованием Суворова, Милорадовича, Кутузова, уже при Требии и Нови командуя полком, а при Березине и под Лейпцигом — дивизией) с редким человеколюбием (он был специально награжден французским орденом Почетного легиона за гуманное обращение с пленными французами). Спартанец в быту, друг молодости поэта-радищевца Пнина, он втайне сочувствовал либеральному настроению молодежи. Письмо Каподистрия оказалось для него лучшей рекомендацией, и он сразу же взял Пушкина под свою опеку.

Маршрут поэта пролегал в стороне от московского тракта — через Лугу, Великие Луки, Витебск,

Могилев, Чернигов и Киев. До Царского Села его проводили друзья – Дельвиг и Яковлев. Далее он ехал один, в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова. Позади была петербургская жизнь – впереди дорога. Начался период скитаний, жизни без постоянного места, без быта. Он про-длился до 9 августа 1824 года, когда нога поэта ступила на порог родительского дома в Михайловском.

Дорога, оторвав Пушкина от пестрой полноты петербургской жизни, дала ему возможность осмотреться. Основной итог был таков: 11 июня 1817 года в Петербург приехал подающий надежды мальчик, 6 мая 1820 года через царскосельскую заставу вы-ехал поэт, уже заслуживший известность и при-знание не только в кругу друзей. 15 мая цензор Тимковский подписал разрешение поэмы «Руслан и Людмила» (вышла в свет в конце июля – на-чале августа). Однако отрывки из нее стали появ-ляться в печати уже с весны 1820 года, и в уст-ном чтении она сделалась известной в кругах пе-тербургских литераторов еще до ссылки поэта. Поэма вызвала разноречивые толки, из которых далеко не все были одобрительными (критические споры вокруг поэмы разгорелись, когда Пушкин уже находился на юге), но одно было безусловно яс-но: отныне жизненный путь Пушкина определился однозначно – и в собственных глазах, и в глазах общества отныне он не шалун, пишущий стихи, а Поэт.

Самосознание это наполняло Пушкина чувством уважения к своему поприщу и говорило ему о том, что период ученичества окончен – теперь уже не мудрые наставники, а он сам должен определять и характер своего творчества, и то, как ему вести себя. Вопрос этот приобретал новый смысл: как должен вести себя Поэт? Пушкин отдавал себе отчет в том, что отныне его человеческий облик, поведение, даже внешность оказываются таинствен-но, но прочно связанными с его поэзией.

Представление о том, что жизнь поэта, его лич-ность, судьба сливаются с творчеством, составляя для публики некое единое целое, принадлежит вре-

мени романтизма. В предшествующие эпохи произведения жили для читателей своей, отдельной от авторов жизнью. В них ценили не отражение авторской индивидуальности, а близость к Истине – единой, вечной, «ясной как солнце», по выражению французского философа Декарта. Биография автора воспринималась как нечто постороннее по отношению к творчеству – она не находила отражения ни в наиболее значимых высоких жанрах (например, в оде), ни даже в элегической поэзии, допускаясь в виде намеков лишь в произведения «низкие», по преимуществу комические. Читатели не искали в жизни поэта ключей к смыслу его стихотворений. Если им и давалась в руки биография писателя (это было возможно лишь по отношению к признанному великим, как правило, уже умершему, поэту), то в ней выделялись некие общие иконо-писные черты, сближающие его с единым идеальным образом. Все, что составляло в человеке индивидуальное, – игнорировалось: биография, фактически, колебалась между житием и послужным списком.

Сначала предромантизм, а затем и романтизм увидел в поэте, прежде всего, гения, неповторимый и своеобразный дух которого выражался в оригинальности его творчества. Творчество поэта стало рассматриваться как один огромный автобиографический роман, в котором стихотворения и поэмы образовывали главы, а биография служила сюжетом. Два гения романтической Европы: Байрон и Наполеон – закрепили эти представления. Первый – тем, что, разыграв свою личную жизнь на глазах у всей Европы, превратил поэзию в цепь жгучих автобиографических признаний, второй – показав, что сама жизнь может напоминать романтическую поэму.

В России Жуковский, Д. Давыдов, Рылеев, каждый по-своему, связали свою жизнь сложными нитями со своей поэзией. Это романтическое жизнеощущение, которое тогда было еще не традицией, а витающим в воздухе живым литературным (и, шире, – культурным) переживанием, послужило для Пушкина на новом этапе его художественной жизни

точкой опоры. Основываясь на нем, он пошел дальше, создав не только совершенно неповторимое искусство слова, но и совершенно неповторимое искусство жизни.

Романтическое жизнеощущение было в этот момент спасительно для Пушкина потому, что оно обеспечивало ему столь сейчас для него необходимое чувство единства своей личности. Пребывание в Петербурге исключительно обогатило Пушкина: общение с широким кругом передовых современников, участие в дискуссиях ввело его в самый центр интеллектуально-идейной жизни эпохи, напряженная жизнь сердца развила мир его эмоций. Встречи с женщинами и приобщение к очень высокой в ту пору культуре чувств и сердечных переживаний развивали душевную тонкость, способность ощущать, чувствовать, замечать и выражать нюансы чувств, а не только их примитивную гамму. Наконец, вхождение в разнообразные и разностильные коллективы обогатило его чувством стиля поведения. Результатом всего этого была исключительно развивающаяся способность гибко перестраивать свою личность, меняться в разных ситуациях, быть разным. Позже Пушкин выделил эту черту в Онегине: «Как он умел казаться новым» (*VI*, 9).

Такая способность свидетельствовала о гибкости и богатстве души. Однако в ней была скрыта и опасность утраты внутренней ее целостности. Слишком большая многогранность и гибкость грозили потерей собственной ориентации. Романтизм здесь пришелся во время. Он не только помог Пушкину стать в поэзии выразителем своего поколения, но и способствовал собственному строительству его личности.

Одним из основных требований романтизма к личности гения была неизменность, подчинение единой страсти, целостность.

«Один он был везде, холодный, неизменный, — писал Лермонтов о Наполеоне, придавая ему типичные черты романтического героя.

Подобно тому как в творчестве Пушкина этого периода стилистическое разнообразие предшествующих лет сменяется единством романтического стиля,

личное, собственное поведение поэта заметно ориентируется на некий единый эталон. Этим идеалом, нормой становится романтический герой.

Романтический тип поведения, глядя на него с точки зрения других эпох, часто упрекали в неискренности, отсутствии простоты, видели в нем лишь красивую маску. Конечно, эпоха романтизма расплодила своих грушницких – поверхностных и мелких любителей фразы, для которых романтическая мантия была удобным средством скрывать (в первую очередь, от себя самих) собственную незначительность и неоригинальность. Но было бы глубочайшей ошибкой забывать при этом, что то же мироощущение и тот же тип отношения со средой мог давать Лермонтова или Байрона. Приравнивать романтизм к его мелкой разменной монете было бы глубоко ошибочным.

Характерной чертой романтического поведения была сознательная ориентация на тот или иной литературный тип. Романтически настроенный молодой человек определял себя именем какого-либо из персонажей расхожей мифологии романтизма: Демона или Вертера, Мельмота или Агасфера, Гяура или Дон-Жуана<sup>1</sup>. Между людьми своего окружения он также соответственным образом распределял роли литературных (или исторических) героев. Полученный таким образом искусственный мир становился двойником бытовой реальности. Более того, для него он был более реальным, чем «пошлая» окружающая действительность. Так он видел и так понимал мир и людей.

Книжность в строе души отнюдь не означала у лучших представителей поколения неискренности или манерности. Напротив, она часто сочеталась с наивностью. Ярким примером может быть пушкинская Татьяна, которая,

<sup>1</sup> В е р т е р – герой повести Гете «Страдания юного Вертера», трагически влюбленный и кончающий самоубийством юноша; М е л й м о т – герой романа английского писателя Метьюрина «Мельмот-Скиталец», таинственный злодей, демонический соблазнитель; А г а с ф е р («Вечный Жид») – персонаж ряда романтических произведений, вечный скиталец, отринутый богом и людьми; Г я у р и Д о н - Ж у а н – образы романтических бунтарей и скитальцев из поэм Байрона.

Воображаясь героиней  
Своих возлюбленных творцов,  
Кларисой, Юлией, Дельфиной,  
..... в тишине лесов  
Одна с опасной книгой бродит,  
Она в ней ищет и находит  
Свой тайный жар, свои мечты (VI, 55).

«Себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть», Татьяна и Онегину отводит роль одного из известных ей героев «британской музы». Книжность этих чувств не мешает им быть и искренними, и глубокими.

Главными чертами романтического героя были одиночество, разочарованность, «равнодущие к жизни и к ее наслаждениям», «преждевременная старость души», которые сделались «отличительными чертами молодежи 19-го века» (XIII, 52), как писал Пушкин В. П. Горчакову. Романтический герой всегда в пути, его мир – это дорога. За спиной у него покинутая родина, ставшая для него тюрьмой. Все связи с родным краем оборваны: в любви он встретил предательство, в дружбе – яд клеветы:

В друзьях обман, в любви разуверенье  
И яд во всем, чем сердце дорожит... (А. Дельвиг,  
«Вдохновенье»).

Но и на чужбине скиталец не останавливается. Всякая остановка для него насильственна. Задерживается ли он на месте оттого, что попадает в плен к диким, но вольнолюбивым жителям экзотических стран, или его привязывает к месту сердечное влечение, тюрьма или счастье для него в равной мере – неволя. Он бежит из тюрьмы или порывает с любовью ради того, чтобы продолжать свои гордые и одинокие скитания.

«Преждевременная старость души» имеет два различных скрытых мотива (часто они совмещаются). Она может быть вызвана мертвящим действием рабства, царящего на родине беглеца. В этом случае сюжет обретает политическую окраску, и попавший в плен к «дикарям» герой лишь меняет один вид рабства на другой:

И ужасен ли обмен?  
Дома – цепи! в чуже – плен! (А. С. Грибоедов,  
«Хищники Чегема»).

Однако возможен и другой мотив: на далекой родине беглец оставил тайную, неразделенную — порой преступную — любовь. Любовь эта лишена надежды. Беглец вытравил ее из сердца, но сердце его угасло для любви, и он не может ответить на младенчески свежее чувство «дикой девы». Возникает миф о неразделенной, тайной любви.

Такова была, в общих чертах, мифология романтической личности. Как мы увидим, Пушкин был весьма далек от рабского копирования ее схем. Однако он учитывал, что романтизм представляет собой факт общего культурного сознания эпохи, и читатель смотрит на него, человека и поэта, именно сквозь такую призму.

Вступая с этими — еще новыми — культурными представлениями в своеобразную игру, Пушкин частично под их влиянием стилизовал собственное поведение, частично же обаянием и авторитетом своей личности влиял на читательское представление о человеческом облике поэта.

В середине мая Пушкин проехал через Киев. Здесь он встретился с рядом петербургских знакомых, в частности с семьей известного генерала, героя 1812 года Николая Николаевича Раевского. С Раевским Пушкин познакомился, видимо, через Жуковского, а с его сыном, Николаем Николаевичем «младшим», дружески сошелся еще в Петербурге. 17 мая он прибыл в Екатеринослав, место своей новой службы.

Службы, собственно говоря, не было. Инзов встретил его ласково и уже 21 мая послал в Петербург благоприятный отзыв о Пушкине. Вскоре поэт, купаясь в Днепре, серьезно простудился. Большого, его подобрали проезжающие через Екатеринослав по пути на Кавказ Раевские. В письме брату от 24 сентября 1820 года Пушкин так описал это знаменательное для него путешествие: «Инзов благословил меня на счастливый путь — я лег в коляску больной; через неделю вылечился. 2 месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи

находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной (...) Видел я берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем (...) Морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуп, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе посыпало; отосли ее Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался – счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение – горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского» (XIII, 17 – 19).

Ночью 19 августа 1820 года Пушкин с Раевским прибыл на военном бриге «Мингрелия» в Гурзуф. В дороге, на палубе, он написал элегию «Погасло дневное светило...», ознаменовавшую начало нового периода в его поэзии. В Гурзуфе он пробыл до начала сентября, «купался в море и обедался виноградом» (XIII, 251), писал не дошедшее до нас сочинение «Замечания о донских и черноморских казаках», несколько элегий и начал работу над «Кавказским пленником». Здесь он открыл для себя двух новых поэтов — А. Шенье и Байрона, начал систематически изучать английский язык.

В начале сентября Пушкин в обществе Н. Н. Раевского-старшего и Н. Н. Раевского-младшего верхом покинул Гурзуф. Они проехали через Алупку, Симеиз, Севастополь и Бахчисарай, где осматривали ханский дворец, затем направились в Симферополь. В середине сентября Пушкин оставил Крым и через Одессу направился в Кишинев, куда в это время перенес свою резиденцию Иззов.

Короткий отдых, который судьба дала Пушкину, закончился. Кишинев не был спокойным захолустьем — он лежал на перекрестке важнейших политических и военных конфликтов эпохи. Жизнь в Кишиневе ставила трудные вопросы и требовала ответов. Во многом она возвращала Пушкина к проблемам петербургского периода. Но сам поэт уже был другим.

Пушкин пробыл в Кишиневе, с отлучками и отъездами, с 21 сентября 1820 года по 2 июля 1823 года. Здесь он пережил надежды, связанные с греческим восстанием, и разгром его, вдохнул воздух находящегося «перед битвой» кружка Орлова и был свидетелем уничтожения этого кружка, так и не дождавшегося открытого сражения с самодержавием. Здесь поэт пережил минуты подъема и горьких разочарований.

Пребывание в Крыму, несмотря на всю его краткость (всего несколько недель), сыграло огромную роль в жизни и поэзии Пушкина: к этому времени восходят многие творческие замыслы и впечатления, которые потом разрабатывались и трансформировались в сознании поэта. Но с этим же временем

связаны и исключительно важные жизненные впечатления. Образ Крыма вошел в пушкинское представление о счастье. 2 февраля 1830 года он писал: «Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму» (XIV, 63 и 399).

Пейзажи Кавказа и Крыма одели живой плотью романтические представления. То, что в Европе входило в литературную моду, «ориенталиа» («восточность»), быстро превращаясь в систему литературных штампов, ожило перед глазами поэта как бытовая реальность. Романтизм, казавшийся в Петербурге экзотической сказкой, на Кавказе обернулся правдой и жизнью. Это толкало к тому, чтобы и в себе самом искать черты романтического героя. Романтическое мироощущение позволяло слить душевный мир и окружающий пейзаж в единую, имеющую общий смысл картину.

Однако мир пушкинских настроений этих месяцев отнюдь не был воспроизведением романтических стандартов. Романтический мир трагичен и погружен в самого себя. Таков, например, мир лермонтовских переживаний на Кавказе. Мир Пушкина был иным: Петербург с его обидами и страстями оказался на время просто вычеркнутым — не случайно за все это время Пушкин не написал ни одного письма, в отличие от дошедших в большом числе писем из Кишинева и Одессы. Малый мир сузился до семьи Раевских, большой — расширился до панорамы Кавказа и Крыма.

Семья Раевских переживала один из самых счастливых своих моментов: прославленный, покрытый ранами генерал Раевский, счастливый отец и обаятельный собеседник, был полон сил и энергии, сыновья, чьи имена в раннем детстве прогремели на всю Россию<sup>1</sup>, готовились к великому будущему. Прелестные, хорошо образованные и умные дочери

<sup>1</sup> Раевский говорил в 1813 году своему адъютанту К. Н. Батюшкову в ответ на вопрос: «Помилуйте, ваше высокопревосходительство! не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя, пошли на мост, повторяя: вперед, ребята: я и дети мои откроем вам путь ко славе, или что-то тому подобное». Раевский засмеялся. «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам

вносили атмосферу романтической женственности. То, что ждало эту семью в будущем: горечь неудавшейся жизни баловня семьи старшего сына Александра, героическая и трагическая судьба Марии Николаевны, смерть самого генерала Раевского, не выпустившего до последней минуты из рук портрета уехавшей за мужем-декабристом в Сибирь дочери — все это и отдаленно не приходило в голову участникам веселой кавалькады. Сейчас здесь господствовала та обстановка семейного счастья и взаимной любви, которой Пушкин, по собственному признанию, «никогда не наслаждался» и которой он так жаждал душевно. Пушкина приняли в этот круг безоговорочно, как своего, как члена семьи и, вместе с тем, как равного, а не как ребенка: девочки-дочери были моложе его и тоже рвались чувствовать себя взрослыми барышнями, да и в самом генерале было много той детской простоты (ср. характеристику его Батюшковым: «Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества»), которая бывает в действительно умных людях. Маленький мир Раевских как бы воспроизводил в ми- ниатюре утопию жизни людей, все связи которых покоятся на любви и равенстве. А кругом расстилался другой мир — воинственный, дикий и свободный, вольный мир горцев и столь же вольный мир пограничных казаков. Этот мир знал постоянную войну, но не знал рабства (если смотреть на него сквозь призму политических идей, усвоенных Пушкиным в Лицее и Петербурге). Малый мир привлекал любовью и счастьем, большой — энергией и дикой свободой. Оба очаровывали.

---

знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятались, я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля ему прострелила панталоны; вот и всё тут, весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Граверы, Журналисты, Нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован Римлянином. *Et voilà comme on écrit l'histoire!*» (франц.: «И вот как пишется история»). (Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1978, с. 413–414.)

В этих условиях романтическая поэзия изгнанничества, трагического эгоизма, стремления проклясть все окружающее и затвориться в гордых и гигантских образах, обитающих внутри души, не получала опоры в собственном опыте и личных эмоциях поэта. Это привело к тому, что романтическое сознание и романтический индивидуализм отразились в мироощущении Пушкина в значительно смягченной форме. На их пути возникли, тормозя их движение, глубоко вошедшие в мысль Пушкина идеи XVIII века (главным образом, Руссо) о счастливой жизни в соответствии с Природой, о гордой и воинственной свободе, купленной ценой отказа от цивилизации, и о силе чувств простого человека. «Преждевременная старость души», в этом свете, казалась уже не участью гения, а болезнью сына большой цивилизации, болезнью, неизвестной детям Природы.

Существующая биографическая литература знает два основных подхода к соотношению Пушкина-поэта и Пушкина-человека. Согласно одному из них, поэт в своем творчестве предельно искренен и, следовательно, поэзия, раскрывая глубины его личности, является идеальным биографическим источником. Согласно другой — поэт в минуту творчества преображается, становясь как бы другим человеком, и соответственно у поэта две биографии: житейская и поэтическая. «У Пушкина прямо поражает бывающее в глаза несоответствие между его жизненными переживаниями и отражениями их в поэзии», — утверждал В. Вересаев<sup>1</sup>.

Современная психология отвергает и то и другое истолкование творческой личности как упрощающие ее природу. Личность поэта, конечно, едина и, бесспорно, связана с широким кругом впечатлений, поступающих из внешнего мира. Однако будучи включена в различные общественные связи, она говорит с миром на многих языках, и мир отвечает ей различными голосами. В результате один и тот же человек, входя в разные коллективы,

<sup>1</sup> Вересаев В. В двух планах. Статьи о Пушкине. М., 1929, с. 135.

меняя целевые установки, может меняться – иногда в очень значительных пределах. Особенно это относится к художнику, чьи реакции на внешний мир отличаются сложностью и разнообразием. Вместо концепций «Поэт – пассивный фотографический аппарат, фиксирующий внешние впечатления» и «Поэт – противоречивая смесь пошлого и великого» возникает представление о творческой личности как сложном сочетании социopsихологических механизмов, обеспечивающих такие реакции, которые характеризуются не только зависимостью от внешних условий, но и свободой, активным преображением мира в сознании поэта.

Чем бы ни занимался, что бы ни делал Пушкин в годы своей творческой зрелости, он был, в первую очередь и прежде всего, Поэт. Именно это он считал основным и определяющим в своей личности, именно так его воспринимали окружающие. Отныне ему приходилось постоянно думать о том, что такое поэт, каким он должен быть в творчестве и жизни, и считаться (или бороться) с тем, что от него ждут его читатели, какие представления связываются в окружающем его обществе с этим понятием. Трудно найти художника, который бы так много думал и столь широко высказывался на тему «Какова сущность поэта, каким должно быть его отношение к миру».

Сознавая себя поэтом, Пушкин тем самым оказывался включенным, по крайнем мере, в три специфические ситуации: 1) Поэт и литература; 2) Поэт и политическая жизнь, в частности для Пушкина – мир антиправительственной конспиративной борьбы; 3) Поэт и каждодневная обыденность, мир ежедневного быта. Конечно, везде он выступает как поэт, и поэт этот – Александр Пушкин – имеет вполне индивидуальное лицо. И все же в каждой из этих ситуаций поэтическое и индивидуальное реализуется каким-то особым, специфическим образом. И лишь из их совокупности возникает подлинное лицо Пушкина в жизни.

Осознавая себя поэтом, Пушкин неизбежно должен был сделаться и литератором, т. е. вступить в специфически литературные связи, попасть в «цех

задорный» писателей с их профессиональными интересами и заботами. Письма Пушкина дают обильный материал, характеризующий его участие в литературной жизни. Воспоминания и дневники близких друзей и случайных знакомых показывают нам его в политических спорах за столом у М. Ф. Орлова или на танцах в домах кишиневского «общества». Однако основная жизнь Пушкина, ее самые насыщенные и напряженные часы не отражены в этих документах: они связаны с творчеством и протекали за закрытой дверью.

Пушкин поселился в стоящем на отшибе доме Инзова, в комнате на первом этаже, и остался в ней даже, когда в результате землетрясения дом был полуразрушен и Инзов его покинул. Пушкину нравилось жить в развалинах. Вместе с пустырем и виноградниками, окружавшими дом, это гармонировало с представлением о себе как о «беглеце», живущем в «пустыне», как он называл шумный Кишинев (город был в эти годы сильно перенаселен: будучи, в сущности, небольшим поселением, он был забит чиновниками русской администрации, молдавскими помещиками, потянувшимися в новый административный центр, солдатами и офицерами стоящего в нем штаба дивизии М. Орлова, а с начала греческого восстания — беженцами из Турции и турецкой Молдавии, семьями волонтеров армии Исполанти). Пушкин писал: «Я один в пустынной для меня Молдавии» (XIII, 19) — «пустынной» она была лишь «для него», т. е. в поэтическом преломлении.

Здесь были написаны «Кавказский пленник», «Гавриилиада», «Братья-разбойники», большое число стихотворений (среди них «Черная шаль», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», послание «Чаадаеву», «Наполеон», «К Овидию», «Песнь о вещем Олеге»), ряд статей, начаты «Бахчисарайский фонтан» и «Евгений Онегин».

Весь этот большой круг произведений не представлял собой механической суммы разрозненных текстов, а отличался единством. Связующим стержнем служил образ автора. Образ этот, возникшая из произведений поэта, сложно переплетался с фак-

тами его жизни, стилизованной в романтическом духе и, с одной стороны, делаясь достоянием читателей, влиял на то, как они воспринимали новые пушкинские тексты, а с другой – оказывал обратное воздействие на поведение самого автора.

Основной чертой этого образа было «поэт-беглец» или «поэт-изгнаник». В известном смысле «беглец», добровольно покинувший родину, и «изгнаник», принужденный ее оставить насильственно, в этой системе идей выглядели как синонимы. Характерно, что в поэме «Цыганы» даже медведь, которого на цепи водят Алеко, назван «беглец родной берлоги» (IV, 188), хотя он, очевидно, в романтической терминологии должен был бы быть назван узником. Однако между этими двумя идеями-образами было и известное различие, и они по-разному влияли на биографическую реальность и ее трактовку.

Образ поэта-беглеца после «Путешествия Чайльд-Гарольда» Байрона сделался одной из ведущих тем европейского романтизма. Он был удобен, поскольку вписывался в антитезу «неволи душных городов» (IV, 185), замкнутого мира рабства и цивилизации и вольного простора диких степей, безграничной «пустыни мира», по которой странствует романтический герой. Трактовка его как изгнаника и узника влекла за собой прикрепление к определенному месту заточения, превращение из «героя движения» в «героя неподвижности», что противоречило поэтике романтизма. Не случайно, если тема тюрьмы входит в биографию романтического героя, то всегда в связи с мотивом побега или жаждой его.

Образ беглеца связывался с темой разочарования. Оставив на родине сердце и душевную свежесть, герой бежит из ставшего тюрьмой родного дома и не перестает тосковать по нему. Перенося прямо этот общий романтический штамп на свои биографические обстоятельства, Пушкин в элегии «Погасло дневное светило...» преобразил свою ссылку в добровольный побег:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальним  
По грозной прихоти обманчивых морей,

Но только не к брегам печальным  
Туманной родины моей,  
Страны, где пламенем страстей  
Впервые чувства разгорались,  
Где музы нежные мне тайно улыбались,  
Где рано в бурях отцевала  
Моя потеряянная младость,  
Где легкокрылая мне изменила радость  
И сердце хладное страданью предала.  
Искатель новых впечатлений,  
Я вас бежал, отечески края,  
Я вас бежал, питомцы наслаждений,  
Минутной младости минутные друзья (*II, I, 146 – 147*).

В первой главе «Евгения Онегина» образ усложнен картиной двойного изгойства: тоскующий и одинокий на одной своей родине, автор обречен на второй – Африке – вздыхать по оставленной им России:

Под небом Африки моей  
Вздыхать о сумрачной России,  
Где я страдал, где я любил,  
Где сердце я похоронил (*VI, 26*).

С этим связано настойчивое подчеркивание в этот период «африканского происхождения со стороны матери», как напоминал Пушкин читателям в примечании в первом издании этой главы (показательно, что в дальнейшем он это примечание заменил глухой ссылкой на первое издание). В письме к Дельвигу он пишет о брате Льве: «Чувствую, что мы будем друзьями и братьями не только по африканской нашей крови» (*XIII, 26*).

Образ ссыльного изгнаника связан был с иными психологическими качествами: здесь требовалась не «преждевременная старость души», а напротив – энергия и готовность к борьбе. Соответственно менялся и тип авторской личности:

Суровый славянин, я слез не проливал (*II, I, 229*);

Всё тот же я – как был и прежде;  
С поклоном не хожу к невежде,  
С Орловым спорю, мало пью,  
Окстиво – в слепой надежде –  
Молебнов лести не пою (там же, 170).

Большую роль в самоосмыслении Пушкина сыграл в это время образ римского поэта Овидия, сосланного императором Августом в устье Дуная. Отождествление себя с Овидием, а Александра I — с лукавым деспотом Августом, скрывающим мстительность под маской величия, давало Пушкину и жизненную роль, и масштаб для измерения собственной личности. Поэт, которого преследует Власть, оказывается на одном с ней уровне (в 1825 году Пушкин имел в виду эту мысль, когда писал, что Наполеон *удостоил* Ж. Сталь *гонения*, см. XI, 29; курсив мой. — Ю. Л.). Для Александра I (как позже для Воронцова) Пушкин был ничтожным чиновником, подвергшимся правительенному взысканию. Пушкин предлагал сам себе и читателям другое объяснение: он — Овидий, поэт, сосланный тираном. Далее начиналось противопоставление. Овидий — малодушный и изнеженный певец юга, автор элегий и эротической поэзии — умолял Августа о прощении. «Суровый славянин, я слез не проливал» (II, 1, 229); «Октавию — в слепой надежде — Молебнов лести не пою» (II, 1, 170; Октавий — император Август).

Образы узника, беглеца, изгнанника сконцентрированы в художественных произведениях Пушкина. Но они отделяются от конкретных стихотворений, проникают в письма, посыпаемые им на север, а, видимо, и в разговоры и, обволакивая поэта определенным образом покрывалом, стилизуют его личность и судьбу в глазах современников. Приведем лишь один пример из большого числа возможных. В письме брату от 25 августа 1823 года Пушкин сообщает о своем переводе в Одессу (известии, как казалось тогда, весьма радостном) и о том, что для решения практических дел по переводу на новое место он должен был съездить еще раз в Кишинев: «...Приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе — кажется и хорошо — да новая печаль мне сжала грудь — мне стало жаль моих покинутых цепей. Приехал в Кишинев на несколько дней, провел их неизъяснимо элегически — и, выехав оттуда навсег-

да, — о Кишиневе я вздохнул» (XIII, 67). Описание переживаний глубоко искреннее и психологически очень естественное. Но для понимания его нужно учитывать, что выражение «О Кишиневе я вздохнул» — слегка переделанный последний стих из переведенной Жуковским поэмы Байрона «Шильонский узник»:

Когда за дверь своей тюрьмы  
На волю я перешагнул —  
Я о тюрьме своей вздохнул.

Пушкин устал от Кишинева, который после разгрома кружка Орлова — В. Ф. Раевского сделался для него особенно тяжел. Но все же Кишинев был не тюрьма, а Одесса — не освобождение. Однако необходимость увидеть себя сквозь образ романтического героя (в данном случае — знаменитого женевского узника Бонивара) была столь настоятельной, что он почти все свои переживания описал в одном из писем средствами цитат, вполне понятных адресату.

И слезы новые из глаз  
Пошли, и новая печаль  
Мне скала грудь ... мне стало жаль  
Моих покинутых цепей...

В создаваемый Пушкиным тип поэтической личности существенной частью входил мотив вечной, утаенной, не получившей ответа любви. Позже Пушкин иронически упомянул его в числе обязательных атрибутов романтического мира, назвав «высоко-парными мечтаниями»:

В ту пору мне казались нужны  
Пустыни, волны края жемчужны,  
И моря шум, и груды скал,  
И гордой девы исдал,  
И безыменные страданья (VI, 200).

Этот обязательный, и в 1840-е годы уже опошленный, романтический мотив упомянул и Лермонтов:

Толпу ругали все поэты,  
Хвалили все семейный круг,  
Все в небеса неслись душою,

Взывали с тайною мольбою  
К НН, неведомой красе,—  
И страшно надоели все<sup>1</sup>.

В 1821 – 1823 годах Пушкин был далек от иронического отношения к этой теме. Более того, он исключительно активно способствовал созданию вокруг своей лирики и личности ореола таинственности и намеков на утаенную страсть. В этом случае он не чужд был иронической игры с читателем, а порой и элементов прямой мистификации.

. Тема утаенной любви объединяет цикл лирических стихотворений «крымского» происхождения или колорита и звучит в поэме «Бахчисарайский фонтан». Однако значительно сильнее она проявляется не в самих стихотворениях, а в автocomментариях по их поводу, ориентируя литературные круги тех лет на определенный тип восприятия.

В декабре 1823 года в Петербурге вышел альманах А. Бестужева и К. Рылеева «Полярная звезда». Бестужев послал его Пушкину. Среди ряда пушкинских стихотворений в альманахе была опубликована элегия «Редеет облаков летучая гряда...». Элегия была напечатана полностью, хотя из серди-

<sup>1</sup> Обязательность этого, быстро опошлившегося, романтического штампа была так велика, что даже дядя Пушкина В. Л. Пушкин считал себя вынужденным иметь такую тайную и неразделенную страсть:

Люблю... никто того не знает,  
И тайну милую храню в душе моей.  
Я знаю то один... хоть сердце изнывает  
Хотя и день, и ночь тоскую я по ней;  
Но мило мне мое страданье,  
И я клялся любить ее без упованья...

Сколько неосторожно на основании таких стихов создавать романтически окрашенные биографические построения, свидетельствуют показания современника об авторе этих стихов: «Предметом его песнопений бывали обыкновенно юницы, только-только что выходившие из коротеньких платьиц (...) Небольшого роста, толстенький, беззубый, плешивый и вечно прилизывающий скудные остатки волос фиксатуаром, он был чрезвычайно слезлив и весьма рано обребячился. Влюблялся он в десятилетних девочек и пресмешно ревновал их. Так рассказывали мне предметы его поклонения, ныне солидных лет дамы и девицы» (Семевский М. К биографии Пушкина. – «Русский вестник», 1869, т. 84, ноябрь, с. 86 – 87).

того письма, которое Пушкин направил Бестужеву тотчас по получении альманаха, видно, что он просил редакторов опустить три последних стиха:

Когда на хижины сходила ночи тень, —  
И дева юная во мгле тебя искала  
И именем своим подругам называла (II, 1, 157).

Пушкин был очень разгневан. В другом письме Бестужеву он писал: «Бог тебя простит! но ты остранил меня в нынешней Звезде — напечатав 3 последние стиха моей Элегии; чорт дернул меня написать еще кстати о Бахч.*(исарайском)* фонт.*(ане)* какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же элегическую мою красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда я увидел их напечатанными — журнал может попасть в ее руки. Что ж она подумает, видя с какой охотою беседую об ней *с одним из п.*(етер*)б.*(ургских)* моих приятелей*<sup>1</sup>. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным — что проклятая Элегия доставлена тебе чорт знает кем — и что никто не виноват. Признаюсь, одною мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась» (XIII, 100—101). Из этой цитаты, как кажется, вытекает, что Пушкин посвятил элегию «Редеет облаков летучая гряда...» женщине, в которую был влюблен, что о ней же он говорил в письме, случайно попавшем в руки Булгарина и частично тем опубликованном, что интимные строки он хотел сохранить в тайне. А поскольку имя этой женщины он старательно избегал упоминать, исследователи сделали вывод о том, что элегия — невольное признание поэта, свидетельство утаенной любви.

Внимательное рассмотрение фактов возбуждает, однако, ряд сомнений.

Прежде всего, хотя элегия была доставлена Рылееву и Бестужеву «чорт знает кем», очевидно, распространять ее среди друзей, что в ту пору было равнозначно распространению среди ведущего чи-

<sup>1</sup> Выделенное Пушкиным курсивом — источная цитата из заметки Ф. Булгарина «Литературные новости», опубликованной в № 4 «Литературных листков» за 1824 год.

тательского ядра, мог только сам автор. В его воле было вообще ее утаить. Далее, зная, что Бестужев собирается печатать элегию, Пушкин не запретил ему этого, а лишь наложил вето на последние три стиха. Этим он, прежде всего, привлекал к ним внимание, давая понять, что они содержат важную для автора тайну (что из самого текста как такового совсем не очевидно). Если считать, что цель Пушкина состояла в сохранении тайны, а не в создании вокруг элегии атмосферы таинственности, то почему автор предлагал не печатать последние *три* стиха, а не *два* (стиху «Когда на хижины сходила ночи тень» легко можно было в печатном варианте придать синтаксическую законченность)? Если бы Бестужев исполнил требования Пушкина, то стихотворение получило бы в печати вид незаконченного отрывка, интригующе обрывающегося таким образом, что последний стих лишен рифмующейся с ним пары. В сочетании с устным известием о том, что конец не мог быть опубликован из-за его интимности (а это обстоятельство стало бы достоянием определенного круга читателей), такая публикация окружила бы элегию тайной и тесно бы связала ее с биографической легендой.

Но еще больше вопросов возникает дальше: слова о том, что одной мыслью этой женщины Пушкин дорожил больше, чем мнением всей читающей публики, звучат с подкупающей искренностью. Имя ее, естественно, интересовало биографов, поскольку эта, называющая своим именем вечернюю звезду «дева юная» – наиболее вероятная кандидата на роль «утаенной любви» Пушкина. Здесь – поскольку в гурзуфской элегии речь могла идти об одной из барышень Раевских или их спутнице – особенно упорно выдвигалась фигура Марии Николаевны Раевской (в замужестве Волконской, известной «декабристки», поехавшей за мужем в Сибирь). Однако, после того как Б. В. Томашевский документально доказал, что «дева юная» – это старшая дочь генерала, Екатерина Раевская (вскоре вышедшая замуж за М. Орлова), оценка слов Пушкина в письме Бестужеву должна перемениться: Пушкин ценил красоту и характер Екатерины Ни-

колаевны, но ни о какой серьезной влюбленности в нее с его стороны и речи не шло: брак ее с М. Орловым вызвал у него лишь несколько фриольных шуток (а в 1825 году в письме Вяземскому он назвал ее «славной бабой» (XIII, 226). Если к этому добавить, что в отрывке письма, опубликованного Булгариным, речь шла совсем не о ней, то остается сделать вывод, что Пушкин мистифицировал Бестужева, а через него наиболее важный для него круг читателей для того, чтобы окружить свою элегическую поэзию романтической легендой, представляя стихи как лирический дневник своего сердца.

Еще более это очевидно относительно «Бахчисарайского фонтана». Пушкин сознательно и целенаправленно вызывал в литературных кругах Петербурга, еще до появления там поэмы, слухи об ее непосредственной связи с чувством автора. 25 августа 1823 года из Одессы Пушкин писал брату: «Здесь Туманский. Он добрый малой, да иногда врет — например, он пишет в П*ете*р Б.*ург* письмо, где говорит между прочим обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и *porte-feuille*<sup>1</sup> — любовь и пр... — фраза, достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к одной женщине, в которую я был очень долго и глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы<sup>2</sup> — помогите!» (XIII, 67).

В этом письме многое странно: во-первых, Пушкин мог не сообщать известному болтливостью Туманскому ничего о связи «Бахчисарайского фонтана» со своими личными переживаниями. Во-вторых, из текста видно, что Туманский показал Пушкину написанное им письмо, и во власти последнего было уговорить или даже заставить (Пушкин и по менее

<sup>1</sup> Папка для бумаг, портфель (франц.).

<sup>2</sup> П. Шаликов — сентиментальный писатель. Фигура его воспринималась в литературных кругах как комическая.

важным поводам посыпал вызовы на дуэль, а здесь затрагивался весьма щекотливый вопрос) его воздержаться от отправки письма. Пушкин не только этого не сделал, а напротив, послал брату Льву, еще ничего не слыхавшему о новой поэме, выписку из письма Туманского с просьбой воспрепятствовать распространению данного слуха. Учитывая всем известную невоздержанность Льва Сергеевича на язык, здесь можно видеть лишь желание именно сделать такой взгляд на поэму достоянием литературных кругов.

В том же письме он делает приписку: «Так и быть я Вяземскому пошлю *Фонтан* – выпустив любовный бред – а жаль!» (XIII, 68). Однако изучение черновиков поэмы разочаровывает: никакого «любовного бреда», якобы, выпущенного при публикации (о чем Пушкин писал друзьям неоднократно), там не содержится. Поэма была опубликована без существенных пропусков.

Все это свидетельствует о сознательном и целенаправленном стремлении Пушкина создать себе в литературе «вторую биографию», которая служила бы в глазах читателей связующим контекстом для его произведений<sup>1</sup>.

Но отношение поэта к литературе имело и другую сторону, резко контрастирующую с идеалами и требованиями романтизма. Пушкин остро нуждался в деньгах: при незначительной должности жалование было ничтожно, отец практически в материальной помощи отказал (даже такая комическая поддержка, как присылка в Кишинев старых отцовских фраков, вызывала длительную переписку). Между тем обнаружилось, что при популярности поэзии Пушкина и быстром росте читательского спроса на нее издания могут приносить хорошие гонорары.

Однако на этом пути было много препятствий: отсутствие в России каких-либо законов, ограждаю-

<sup>1</sup> Показательна деталь: в 1822 году вышло издание «Кавказского пленника» с портретом Пушкина-ребенка, гравированным Е. Гейтманом. Пушкин был изображен с расстегнутым воротом мягкой рубашки. Такая деталь приводила читателям на память портрет Байрона со столь же поэтически небрежно расстегнутым воротом мягкой рубашки.

щих права автора и регулировавших юридическую сторону изданий, ссылка Пушкина, вынуждавшая его прибегать к помощи посредников — неумелых, незаинтересованных, а иногда и недостаточно добросовестных. Однако основным препятствием было другое: в русской литературе господствовало представление о том, что поэзия — подарок богов, а не труд, и получать за нее денежное вознаграждение унизительно для поэта. Тем более несовместимыми казались денежные заботы с позицией романтического изгнанника, которому, согласно поэтическим штампам, приличествовала гордая бедность.

Обстоятельства жизни заставляли Пушкина почувствовать себя профессиональным литератором, в противоречии с романтическим представлением о поэте как «ленивце праздном». Ясный ум Пушкина видел, что этим разрушается та романтическая легенда, к созданию которой он сам прилагал усилия. В письме А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года он писал: «Дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут *искателя новых впечатлений*» (XIII, 29). «Минутной младости минутные друзья» и «искатель новых впечатлений» — цитаты из элегии «Погасло дневное светило...». Соединяя их с денежными просьбами, Пушкин сознательно сталкивал два мира — поэзии и жизненной прозы. Поэт оказывался причастен обоим. Борьба за права литератора предстояла жестокая и длительная, прежде чем Пушкин в конце концов ее выиграл, заложив основы профессиональной литературы и авторского права в России.

Первая поэма Пушкина вышла, когда он уже был на юге. Она разошлась с огромным материальным успехом. «Московский телеграф» позже писал: «Руслан и Людмила» (...) явилась в 1820 году. Тогда же она была вся раскуплена, и давно не было экземпляров ее в продаже. Охотники платили по 25 руб. и принуждены были списывать ее<sup>1</sup>. Однако из весьма значительной выручки Пушкин не получил почти ничего. Львиная доля досталась из-

<sup>1</sup> «Московский телеграф», 1828, № 5, с. 77–78.

дателю Н. И. Гнедичу. Некоторые исследователи склонны упрекать Гнедича в недобросовестности<sup>1</sup>. Однако по представлениям той эпохи Гнедич не сделал ничего предосудительного. Понятия литературной собственности тогда не существовало, и издатель любой поэтической антологии спокойно клал в карман деньги за стихотворения не только мертвых, но и живых поэтов. Издательский труд считался «низким» и подлежащим денёжной компенсации, поэзия же могла бы быть гонораром лишь унижена. Характерно, что в журналах XVIII в. переводчикам платили гонорары, поэт же обиделся бы, если ему предложили деньги («не продается вдохновенье»). Тот же Гнедич, издавая произведения своего друга Батюшкова, из 15 000 рублей, которые принесло издание, выплатил автору лишь 2000, а остальные взял себе. Никому не пришло в голову упрекнуть его. Пушкин, однако, чувствовал себя литератором нового типа и не хотел мириться с любительством и непрофессиональностью в издательских делах. В письме Гречу от 21 сентября 1821 года, предлагая свою вторую поэму, «Кавказский пленник» (в обход Гнедича, который очень обиделся), он писал, иронически подчеркивая деловой характер отношений «поэт – издатель»: «Хотел было я прислать вам отрывок из моего «Кавказского Пленника», да лень переписывать; хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? длиною в 800 стихов; стих шириною – 4 стопы; разрезано на 2 песни. Дешево отдаю, чтоб товар не залежался» (*XIII*, 32–33). Гнедич сумел отстранить других возможных издателей (можно предположить, что им руководило не корыстолюбие, а честолюбивое желание выступать в роли покровителя и издателя Пушкина), и вторая поэма снова доставила автору 500 рублей гонорара, а издателю, видимо, около 5 000<sup>2</sup>. Однако в конечном итоге Пушкин восторжествовал.

С помощью своего друга П. А. Вяземского, который выступил как издатель третьей поэмы – «Бах-

<sup>1</sup> Гессен С. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л., 1930, с. 34–35.

<sup>2</sup> Там же, с. 40.

чисарайский фонтан», Пушкин добился исключительно высокого по тем временам авторского гонорара. Русские журналы, охваченные полемикой о романтизме, вызванной этой поэмой Пушкина и предисловием к ней Вяземского, одновременно особо отметили гонорарную сторону как начало «европейского» отношения к поэзии в России.

Два лица поэта в его отношении к литературному делу еще не совмешались — им предстояло слиться в одно на следующем, реалистическом этапе пушкинского творчества.

Пребывание в Кишиневе отмечено особенной широтой связей Пушкина с декабристским движением. Дислоцированная на юге 2-я армия генерала П. Х. Витгенштейна была прибывающим наиболее решительных элементов Союза Благоденствия. Европа, замершая было после падения Наполеона, переживала новый революционный подъем. В России быстро крепло освободительное движение. Пушкин с головой погрузился в эту атмосферу. Однако, в отличие от Петербурга, он уже не был учеником, стучащимся в двери избранных, — он ощущал себя Поэтом и стремился определить свое место — место Поэта среди Граждан.

Обстановка, в которую попал Пушкин в Кишиневе, отличалась от петербургской прежде всего тем, что это была обстановка действия. Отзвуки революций, потрясавших в это время южную Европу: Испанию, Грецию, Неаполь, Пьемонт — доносились сюда гораздо непосредственнее. А когда в январе 1821 года вспыхнуло восстание в турецкой Молдавии под руководством Т. Владимиреско, вслед за которым 22 февраля генерал русской службы, сын молдавского господаря грек А. Ипсиланти перевился через Прут — границу России и турецкой Молдавии — и, прибыв в Яссы, призвал греков Оттоманской империи к общему восстанию, Пушкин оказался в самом центре событий.

Декабристы, как и вообще широкие круги русских либералов, надеялись, что Россия, выполняя полуофициальные обещания Александра I, вступится за единоверных греков и тем самым окажется втянутой в освободительную войну народов про-

тив тирании, что неизбежно отзовется и на ее внутренней политике. Пушкин ждал войны и готовился принять в ней участие. Он начал изучать турецкий язык, умолял друзей приостановить хлопоты о его возвращении в Петербург. В эти дни он исключительно тесно общается с кишиневскими кругами греческих инсургентов. В начале марта 1821 года он писал (видимо, декабристу В. Л. Давыдову): «Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы. Греция восстала и провозгласила свою свободу (...) Я видел письмо одного инсургента — с жаром описывает он обряд освящения знамен и меча князя Ипсиланти — восторг духовенства и народа — и прекрасные минуты Надежды и Свободы (...) Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету — к независимости древнего Отечества. В Одессах я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти» (*XIII*, 22–23).

Греческое восстание не только обогатило Пушкина переживаниями политического энтузиазма, «прекрасными минутами Надежды и Свободы», — оно доставило ему возможность вблизи наблюдать важнейшие политические события эпохи, видеть их подоплеку и оборотную сторону. Это был один из тех уроков, которым Пушкин обязан поразительным даром ясного государственного мышления, изумлявшим в 1830-е годы иностранных дипломатов в Петербурге. Пушкину пришлось наблюдать трагический раскол в лагере восставших — кровавый конфликт между интересами крестьянской по составу армии Владимиреско и аристократического руководства Ипсиланти, осложненный национальными противоречиями между молдаванами и румынами, с одной стороны, и греками — с другой. Он был наблюдателем сложных отношений между руководством восстания, командованием 2-й русской армии

и деятелями тайных обществ в России. Именно эти события, видимо, были причиной приезда в Кишинев Пестеля. Пушкин имел в это время с Пестелем «разговор метафизический, политический, нравственный и проч.». «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю» (*XII*, 303), — записал поэт в кишиневском дневнике. Вместе с Пестелем он принял, видимо, участие в переговорах с руководителями греческого восстания. Много лет спустя, в 1833 году, Пушкин записал в дневнике исключительно интересные детали дипломатической деятельности Пестеля, свидетельствующие об освещенности поэта. Развитие событий вызвало глубокое разочарование Пушкина в Ипсиланти. Если наблюдение за ходом греческого восстания подвело Пушкина к размышлению над трагической для декабристов проблемой соотношения народного движения и революционности просвещенного аристократического меньшинства, то личные свойства Ипсиланти способствовали разочарованию в романтическом культе «великого человека». Позже, в черновиках поэмы «Езерский», оправдывая свое обращение к простому, «не-великому» человеку, Пушкин записал: «Зачем ничтожных героев? Что делать — я видел [Ипс~~и~~ланти], Паске~~и~~вича, Ермолова]» (*V*, 410; вся запись зачеркнута).

Однако наибольшее значение для Пушкина в этот период имело тесное общение с М. Ф. Орловым и группировавшимися вокруг него кишиневскими декабристами, особенно В. Ф. Раевским.

М. Ф. Орлов прибыл в Кишинев летом 1820 года и принял командование 16-й дивизией. Он отклонил более выгодные служебные возможности, вызвав неудовольствие Александра I, для того чтобы получить в руки крупную самостоятельную воинскую единицу. Это было ему необходимо для реализации далеко идущих военно-революционных планов. «16 тысяч под ружьем [...] С этим можно пошутить», — писал Орлов А. Н. Раевскому вскоре после получения дивизии<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические соч., письма. М., 1963, с. 225.

Из контекста письма ясно, что Орлов говорил об участии в войне против Турции, однако недавние разыскания С. С. Ланда<sup>1</sup> показали, что вмешательство в греческое восстание входило для Орлова в 1820 году в план русской революции. Орлов был участником декабристского Ордена Русских Рыцарей – организации, ориентированной на тактику решительных действий. Первоначально он надеялся получить дивизию не на далекой границе, а вблизи от Москвы. «Какая бы разница, ежели бы я получил дивизию в Нижнем Новгороде или в Ярославле. Я бы был как рыба в воде». Имея исходную базу в любом из этих городов, Орлов мог считать вполне реальным план похода на Москву, почти лишенную в ту пору внутренних войск. Не случайно у его единомышленника гр. М. А. Дмитриева-Мамонова, строившего тем временем в своем колossalном имении под Москвой подлинную крепость, снабженную артиллерией, которая могла быть великолепным опорным пунктом при проведении этой операции, тщательно сберегались знамя, врученное, по преданию, Мининым Пожарскому, и окровавленная рубашка царевича Дмитрия. Обе реликвии были исполнены смысла: одна должна была бы освятить поход Орлова – Мамонова историческим ореолом, вторая – стать наглядным доказательством пресечения рода Рюриковичей и ничтожества прав Романовых на всероссийский престол.

Однако при дворе уже не доверяли Орлову: ему многократно отказывали в просьбах о назначении командиром дивизии и, в конце концов, дали соединение, стоящее на далекой пограничной окраине. Орлов сначала был обескуражен, однако вскоре у него оформился смелый план связать греческое восстание с русским. С. С. Ланда приводит не попадавшие в поле зрения историков исключительно интересные данные греческого историка Филиона,

---

<sup>1</sup> Ланда С. С. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России 1816–1821 гг. – В кн.: Пушкин и его время, исследования и материалы. Вып. I. Л., 1962, с. 148–168, а также: Ланда С. С. Дух революционных преобразований, М., 1975, с. 169–179.

близкого к Ипсиланти, согласно которым в переговорах последнего с Орловым было предусмотрено, что, если самовольное вмешательство Орлова в греческие дела вызовет гнев Александра I и он в Петербурге будет «объявлен вне закона», т. е. в случае, если вмешательство Орлова спровоцирует начало гражданской войны в России, Орлов «с русскими (т. е. со своей дивизией. – Ю. Л.) вступит в княжества как самостоятельный начальник», получив тем самым в Валахии и турецкой Молдавии базу для начала революционной войны с петербургским правительством. При этом он, конечно, рассчитывал на поддержку других дивизий пронизанной заговором армии Витгенштейна и, в определенной мере, на поддержку таких военных деятелей, как Киселев, Ермолов, Раевский-старший. Прибыв в Кишинев, Орлов начал немедленно готовить свою дивизию к боевым действиям. Он сплачивал вокруг себя офицеров – членов тайного общества, преследовал и удалял аракчеевцев, энергично завоевывал личную привязанность и любовь солдат<sup>1</sup>.

Орлов отнюдь не был фантазером и мечтателем, когда в 1821 году на московском съезде Союза Благоденствия в ответ на известие о том, что правительство захватило нити заговора, предложил план немедленных революционных действий.

Такова была ситуация в Кишиневе, когда туда попал Пушкин. Ближайшее окружение Орлова – это майор В. Ф. Раевский, адъютант Орлова К. А. Охотников, командир бригады в 16-й дивизии генерал-майор П. С. Пущин – все члены Союза Благоденствия. Они же составляли в Кишиневе круг лиц, оказывавших в политическом отношении на Пушкина наибольшее влияние. Пушкин был запросто принят в доме Орлова. Он постоянный гость на обедах у него и столь же постоянный оппонент хозяина в непрерывных политических спорах, которые кипят в этом доме. Принят он здесь как равный, несмотря на разницу чинов и возраста. Жена Орлова, Екатерина Николаевна, писала брату А. Н. Раевскому 23 ноября

<sup>1</sup> См.: Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский. М. – Л., 1949, с. 27 – 88.

1821 года: «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — *вечный мир аббата Сен-Пьера*. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия»<sup>1</sup>. Пушкин в это время перечитывал проект вечного мира аббата Сен-Пьера в изложении Руссо (вообще он проявлял тогда большой интерес к сочинениям женевского мыслителя). Чтение это имело остро актуальный характер, поскольку затрагивало вопросы врожденной свободы человека, народного суверенитета (верховной власти народа), прав народов.

Споры Пушкина с Орловым (ср. в послании Гнедичу: «С Орловым спорю, мало пью» (II, 1, 170) не были антагонистическими<sup>2</sup>.

Политический контекст интереса Пушкина к проблемам «вечного мира» связан был с тем, что господство реакционного союза держав-победительниц в войнах с Наполеоном осуществлялось под лозунгом умиротворения Европы. Объявляя Наполеона демоном войны, Венский конгресс торжественно провозглашал вечный мир. Лозунг этот, не лишенный в 1815 году некоторой либеральной окраски, в дальнейшем превратился в программу защиты реакционного порядка против напора революционных сил; по словам Пушкина, идеи умиротворения

...миру тихую неволю в дар несли (II, 1, 310).

Соответственно носители революционного сознания в эти годы были, как правило, настроены воинственно. Симпатии западноевропейских либералов все чаще стали обращаться к Наполеону, а идеи

<sup>1</sup> Гершензон М. О. История молодой России. М. — Пг., 1923, с. 34. Ср. письма Е. Н. Орловой тому же адресату: «У нас беспрестанно идут шумные споры, философские, политические, литературные и др. Мне слышно их из дальней комнаты» (там же).

<sup>2</sup> См.: Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира». — В кн.: Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972.

революции и революционной войны оказывались тесно переплетенными.

В этом случае война рассматривалась как средство защиты государственных интересов своей страны после того, как в ней утвердится свобода. Представление о том, что отношения между государствами лежат вне сферы морали (поскольку основываются на «естественному праве»), порождало наступательную концепцию внешней политики России после революции (Пестель), которая, например, у друга Орлова Дмитриева-Мамонова приобретала откровенно агрессивный характер. В концепции Мамонова правительство революционной России – в традиции Наполеона – воспринимало и резко усиливало великолдержавные моменты своей политики (Мамонов проектировал обширные территориальные захваты в северной, центральной и южной Европе, «сочинение проекта выгодной войны против Персиян и вторжение в Индию»<sup>1</sup>). Орлов, давний соратник Мамонова по Ордену Русских Рыцарей, видимо, отчасти разделял идеи своего друга.

Пушкину, спорившему с Орловым и работавшему в эти дни над рукописью, посвященной вопросу вечного мира, свойствен был другой подход. Он отвергал мир, являющийся плодом союза монархов, и, опираясь на авторитет Руссо, предлагал вечный мир как результат союза революционных правительств. В своем наброске, цитируя слова Руссо о том, что путь к миру откроют лишь «средства жестокие и ужасные для человечества», он заключал: «Очевидно, что эти ужасные средства, о которых он говорил, – революции. Вот они и настали» (XII, 189 и 480)<sup>2</sup>.

Показательно, что в те самые дни, когда в доме Орлова Пушкин проповедовал вечный мир, он же

<sup>1</sup> Из писем и показаний декабристов. СПб., 1906, с. 147.

<sup>2</sup> Набросок Пушкина сохраняет живые интонации спора с Орловым. Заключительные слова: «Знаю, что все эти доводы очень слабы, так как свидетельство такого мальчишки, как Руссо, не выигравшего ни одной победушки, не имеет никакого веса» (XII, 480) – конечно, ироническая переделка слов Орлова, адресованных другому «мальчишке, не выигравшему никакой победушки» – самому Пушкину. См.: Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира». – В кн.: Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972.

написал стихотворение «Война», заканчивающееся словами: «Что ж битва первая еще не закипела?» (II, 1, 167). Революционная война (в данном случае, освободительная война греков) была для него не отрицанием мира, а путем к единственному возможному уничтожению войн. Для Орлова (как и для многих других декабристов) Свобода должна была открыть, подобно французской революции XVIII века, тур войн, цель которых — государственное величие России; для Пушкина Свобода несла Мир.

Однако центральными вопросами, обсуждавшимися в кружке Орлова и в домике Раевского, были внутренние вопросы России. Политические настроения Пушкина в эти месяцы хорошо рисуют бесхитростные записи в дневнике его сослуживца П. И. Долгорукова. Здесь читаем: «Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно». Пушкин «вдруг отпустил нам следующий силлогизм: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский — тоже; нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Глубокое молчание после этих слов». «Наместник ездил сегодня на охоту с ружьем и собакою. В отсутствие его накрыт был стол для домашних, за которым и я обеддал с Пушкиным. Сей последний, видя себя на прощоре, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Охота взяла переводчика Смирнова спорить с ним, и чем более он опровергал его, тем более Пушкин разгорался, бесился и выходил из терпения. Наконец полетели ругательства на все слова. Штатские чиновники подлецы и воры, генералы скоты большую частию, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли»<sup>1</sup>.

Настроения эти отразились в творчестве поэта. Постоянное общение с Орловым, Раевским и другими кишиневскими декабристами делает Пушкина подлинным выразителем политических идей наиболее

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 360—361; записи от 30 апреля, 27 мая и 20 июля 1822 года.

радикальных элементов в декабристском движении 1821–1822 годов. Он решительно заявляет себя сторонником идеи тирраноубийства, все с большей настойчивостью обсуждавшейся в конспиративных кругах.

Пушкину не сиделось в Кишиневе, и генерал Инзов, относившийся к нему с трогательной заботливостью, охотно отпускал его в отлучки. Местом частых посещений Пушкина было имение В. Л. Давыдова Каменка вблизи Киева, бывал он и в Тульчине, проезжал через Васильков<sup>1</sup>. Поездки эти укрепляли его личные связи с южными декабристами.

Политическая лирика, созданная поэтом в это время, определила его особое положение в кругу декабристов. Такие стихотворения, как «Кинжал», «Наполеон», «Гречанка верная! не плачь,— он пал героем...», выражали тесную связь Пушкина с политическими заговорщиками. Но в еще большей мере об этом говорили послание В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов...») или генералу Пущину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел...»). Если первые представляют собой агитационно-политические стихотворения, обращенные к широкой аудитории, то вторые — конспиративные послания от одного заговорщика другому. Они написаны языком намеков, политической тайнописью (в одном случае основанной на условных словечках дружеского кружка политических единомышленников, в другом — на конспиративном языке масонов, так как стихотворение обращено к «собрату» Пушкина по кишиневской ложе «Овидий», тесно связанной с декабристами).

Облик Пушкина кишиневского периода был бы неполон, если бы мы упустили еще один его лик. Бытовое положение Пушкина было сложным: репутация ссыльного, постоянные денежные затруднения в сочетании с необходимостью общения с людьми самого разного общественного положения, незначительный чин, двусмысленность самого положения поэта в обществе — все делало его не защищенным от возможности оскорблений. Вообще, полное отсут-

<sup>1</sup> Тульчин и Васильков — центры декабристских организаций Юга.

ствие душевной ущемленности, психологии ущербности, полнота жизни и сил, неотделимые для нас от образа Пушкина, заставляют нас забывать, в сколь трудном и уязвимом положении он находился. Как автор он не мог защищать свои права из-за отдаленности от центров литературной жизни и неясности юридического положения профессионального литератора в то время. Как участник политической жизни он вынужден постоянно считаться с тем, что его глубокое убеждение в принципиальной многогранности поэтической личности понимается как недостаточная готовность отдать себя политической борьбе или даже как «испорченность», «ветреность», «нестойкость». Как человек он – это сделалось очевидным уже в Кишиневе – обречен носить клеймо «поэта», постоянно подвергаясь бесцеремонному любопытству и сталкиваясь с настойчивым ожиданием, что он будет вести себя в соответствии со штампами поведения «поэтической личности».

Надо было быть поистине гениальным не только поэтом, но и человеком, чтобы в этих условиях не дать себя соблазнить ни одной из пошлых масок общественного маскарада, не представляться

Мельмотом,  
Космополитом, патриотом,  
Гарольдом, квакером, ханжой (*VI*, 168),

а твердо и уверенно строить свою личность, создавая ее постоянно как оригинальное и законченное художественное произведение.

Неправильно представлять себе «строительство личности» как сухо рациональный процесс: как и в искусстве, здесь задуманный план соседствует с интуитивными находками и мгновенными озарениями, подсказывающими решение. Вместе это образует ту смесь сознательного и бессознательного, которая характерна для всякого творчества.

Коллежский секретарь и «стихотворец» в мире, в котором все определялось чинами, человек без средств, постоянно погруженный в денежные заботы, в обществе людей обеспеченных и широко тративших деньги, штатский среди военных, двадцатилетний мальчик среди боевых офицеров или важных мол-

давских бояр, Пушкин был человеком, чье достоинство подвергалось ежечасным покушениям. То, что другие получали от рождения как естественную принадлежность и что сообщало им аристократический лоск — «холод гордости спокойной», у Пушкина было отнято. Он все должен был завоевать сам — без чинов, без протекций, без денег, даже без такта в житейских вопросах и «хорошего» воспитания. У него была единственная опора — гениальность.

Первым оружием Пушкина в борьбе с уничижительностью его реального существования была внутренняя еще Чаадаевым глубокая вера в собственное достоинство, в свою значительность и твердая решимость во всех случаях, до самых ничтожных, защищать свою гордую независимость. Даже злоязычный Вигель отметил как свойство характера Пушкина «сильный рассудок, беспрестанно в нем пробуждающийся», и «чувство чести, которым весь был он полон»<sup>1</sup>. В этом — разгадка многочисленных дуэлей Пушкина в Кишиневе и столкновений его с представителями кишиневского «общества». Осенью 1822 года Пушкин написал брату Льву письмо — характерный кодекс гордости незащищенного человека во враждебном ему обществе: «...твое поведение надолго определит твою репутацию и, быть может, твое благополучие.

Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь. С самого начала думай о них все самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком сильно ошибешься. Не суди о людях по собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво и, сверх того, еще молодо; презирай их самым вежливым образом: это — средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоем в свет.

Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит; особенно же осторегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего этого ожидаем.

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 219.

Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать: люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе.

Никогда не принимай одолжений. Одолжение, чаще всего,— предательство.— Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает.

Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах, было бы совершенно бесполезно. Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны XVIII столетия. Что касается той женщины, которую ты полюбишь, от всего сердца желаю тебе обладать ею.

Никогда не забывай умыщенной обиды,— будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не расплачивайся бранью за брань.

Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блескать, не старайся скрывать лишний; скорее избери другую крайность: равнодущие к приличию своей резкостью импонирует суетному мнению света, между тем как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения.

Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым.

Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь; она дорого будет стоить моему самолюбию, но меня это не остановит, если дело идет о счаствии твоей жизни» (XIII, 49).

Эти горькие строки говорят не только о большом и тяжелом жизненном опыте, но и о навыке строгого самоанализа и сознательной лепке своего характера, устраниении из него всего, что не соответствовало обдуманной норме поведения.

Орлов зажил в Кишиневе широко<sup>1</sup>, в доме его царило то веселье, которое охватывает молодых и отважных людей, принявших опасное решение, накануне боя. Смелыми действиями в защиту солдат Орлов сумел вызвать у нижних чинов дивизии любовь, доходящую до поклонения. «Ласковое его обращение, его величественный вид, его всегда веселое лицо, его доступность для всех – внушало солдатам доверенность, привязанность до восторженности. На смотрах, когда он подъезжал к фронту, солдаты, не дождавшись его приветствия «здравствуйте, братцы!», встречали его громким «ура!» – вспоминал В. Ф. Раевский<sup>2</sup>. Секретный агент правительства доносил: «Нижние чины говорят: дивизионный командир (М. Ф. Орлов) – наш отец, он нас просвещает. 16-ю дивизию называют Орловщиной (...) Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство»<sup>3</sup>. Нетерпение охватило всех – от командира дивизии до ссылочного поэта. Общее настроение выразил командир полка и член Союза Благоденствия полковник Непенин, скававший В. Ф. Раевскому: «Что много толковать (...) Мой полк готов. За офицеров и солдат ручаюсь – на-доело ничего не делать»<sup>4</sup>.

Между тем сведения об обстановке в Кишиневе доходили до правительства. Над Орловым и его окружением собирались тучи.

В 1820 году Александр I находился в Троппау, где собрался конгресс, посвященный подавлению революционных движений в Европе. 28 октября он получил известие о восстании Семеновского полка. Хотя событие это не было никоим образом связано с декабристским движением, император был убежден, что «тут кроются другие причины». «Я его приписываю тайным обществам», – писал он Аракчееву<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Вигель вспоминал: «Он нанял три или четыре дома рядом и начал жить не как русский генерал, а как русский боярин» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 222).

<sup>2</sup> «Лит. наследство», 1956, т. 60, кн. 1, с. 89.

<sup>3</sup> «Русская старина», 1883, кн. XII, с. 657.

<sup>4</sup> «Лит. наследство», 1956, т. 60, кн. 1, с. 85.

<sup>5</sup> Шильдер Н. К. Император Александр Первый, т. IV. СПб., 1898, с. 185.

Началась усиленная слежка. В 1821 году член Коренной управы Союза Благоденствия провокатор М. К. Грибовский подал правительству подробный донос с изъяснением характера и задач Союза Благоденствия. М. Орлов был назван в числе «ревностных членов». За кишиневской ячейкой установилось наблюдение.

Насколько погружен был Пушкин в поток развертывавшихся вокруг него событий, свидетельствуют два эпизода: участие его в обсуждении вопроса о роли тайных обществ в поместье Давыдовых Каменке и услуга, которую он оказал декабристскому движению в целом, предупредив В. Ф. Раевского о грозящем ему аресте.

В ноябре 1820 года в Москву из Кишинева отправился М. Орлов в сопровождении декабриста И. Д. Якушкина для участия в съезде Союза Благоденствия. По пути они заехали в Каменку, где в это время собирались многие выдающиеся деятели конспиративного Юга. Тут же находился отпущенный по просьбе братьев Давыдовых Пушкин. В мемуарах Якушкина сохранилась яркая картина: «Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича, и вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него. Он не верил, что я случайно заехал в Каменку, и ему хотелось знать причину моего прибытия. В последний вечер Орлов, В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному обществу или нет. Для большого порядка при наших прениях был выбран президентом Раевский. (...) Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного общества в России. Сам он высказал все, что можно было сказать за и против Тайного общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова; Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России». В конце обсуждения все было обращено в шутку. Пушкин «встал, раскрасневшись, и сказал

со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженою и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен»<sup>1</sup>.

Другой эпизод связан с арестом майора В. Ф. Раевского. Пушкин, как сообщает сам Раевский в своих воспоминаниях, случайно услыхал разговор между генералами Сабанеевым и Инзовым, в котором первый требовал ареста Раевского, и предупредил декабриста об опасности. Раевский успел сжечь «все, что нашел лишним»<sup>2</sup>. Раевский был смел и неосторожен, к предупреждению Пушкина отнесся небрежно, и после его ареста в руки правительства попал ряд важных бумаг. Можно предположить, что без подготовки, которую он смог сделать благодаря Пушкину, последствия обыска у него были бы для Тайного общества катастрофическими.

Эпизоды эти ясно рисуют и близость Пушкина к заговорщикам Юга, его органическую включенность в их жизнь, духовную и бытовую, и его порывы связать свою судьбу с «высокой целью», и известную настороженность с их стороны.

Почему декабристы 2-й армии при тесной близости с Пушкиным и явном его стремлении войти в число заговорщиков не предложили ему вступить в тайное общество? Играли определенную роль двойная предосторожность: с одной стороны, нежелание подвергать талант поэта опасности<sup>3</sup>, с другой — понимание того, что ссыльный Пушкин — объект усиленного внимания правительства и несдержанный по характеру и темпераменту — может привлечь к Обществу нежелательное внимание властей. Однако приходится отметить и известную узость декабристов в их подходе к искусству и людям искусства.

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 365—366.

<sup>2</sup> «Лит. наследство», 1956, т. 60, кн. 1, с. 76.

<sup>3</sup> Имеется сведение, восходящее к сыну декабриста Волконского Михаилу, что его «отцу было поручено принять его (Пушкина. — Ю. Л.) в Общество и что отец этого не исполнил», щадя талант поэта («Лит. наследство», 1952, т. 58, с. 163). Если это сведение справедливо, то его следует, вернее всего, приурочить к одесскому периоду, когда Пушкин часто встречался с Волконским.

Устав Союза Благоденствия предъявлял высокие нравственные требования к кандидатам в новые члены. Однако практика приема была менее строгой: Вадковский легкомысленно принял почти неизвестного ему Шервуда, который оказался предателем. Пестель покрыл растрату казенных денег, совершенную капитаном его полка Майбородой, и принял казнокрада в Южное общество. Майборода отплатил ему предательством, донеся на Общество правительству. Но, даже если оставить в стороне эти бывающие в глаза случаи, можно было бы указать, что репутация кутилы, бретера и шалуна не помешала П. П. Каверину быть принятым в Союз Благоденствия. Можно было бы привести и другие примеры.

Случай с Пушкиным был принципиально иной — ставило в тупик богатство и разнообразие его личности. Суровые политические наставники Пушкина чувствовали, что не могут управлять его поведением, что от него можно ожидать неожиданного. Они восхищались поэзией Пушкина, но лишь частично, отвергая определенные ее стороны. И в самом поэте они хотели бы больше той односторонности, без которой, по их мнению, нет и гражданского героизма.

В феврале 1822 года начался разгром кишиневского кружка. Против Орлова началось следствие. Хотя формально его отстранили от командования дивизией лишь в апреле 1823 года, но фактически «орловщина» кончилась весной 1822 года. Атмосфера слежки, доносов, разрушение всего круга друзей и единомышленников делали дальнейшее пребывание Пушкина в Кишиневе исключительно тяжелым, и он, конечно, был рад, когда предоставилась возможность служебного перевода в Одессу.

Весной 1823 года в административном устройстве юга России произошли перемены: новороссийское генерал-губернаторство и бессарабское наместничество были сосредоточены в одних руках. Начальником края был назначен М. С. Воронцов, местом пребывания канцелярии — Одесса. Пушкина причислили к канцелярии Воронцова. 25 августа 1823 года он писал брату: «Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни. Вот в чем дело: здоровье мое давно требовало

морских ванн, я насили уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу — я оставил мою Молдавию и явился в Европу — ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и ей богу обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляют мне, что я переходжу под его начальство, что остаюсь в Одессе» (*XIII*, 66—67).

Пушкин находился в Одессе до 1 августа 1824 года. Этот короткий период его жизни был одним из наиболее противоречивых.

Для поверхностного наблюдателя Пушкин был захвачен удовольствиями жизни в большом городе с ресторанами, театром, итальянской оперой, блестящим и разнообразным обществом, столь резко контрастировавшим с провинциальностью кишиневской жизни. Светскими знакомствами и театром Одесса напоминала Петербург, непринужденным обществом военных либералов — Киев, Кишинев и Каменку, а морем, французской и итальянской речью на улицах, бесцензурным пропуском французских газет и беспошлинным привозом вин — Европу. Жизнь эта охватила Пушкина.

Бывало, пушка зоревая  
Лишь только грянет с корабля,  
С крутого берега сбегая,  
Уж к морю отправляюсь я.  
Потом за трубкой раскаленной,  
Волной соленою оживленный,  
Как мусульман в своем раю,  
С восточной гущей кофе пью.  
Иду гулять. Уж благосклонный  
Открыт Casino; чашек звон  
Там раздается; на балкон  
Маркёр выходит полусонный  
С метлой в руках, и у крыльца  
Уже сошлися два купца.

Глядишь, и площадь запестрела,  
Всё оживилось; здесь и там  
Бегут за делом и без дела,  
Однако больше по делам.  
Дитя расчета и отваги,  
Идет купец взглянуть на флаги,  
Проведать, шлют ли небеса  
Ему знакомы паруса.  
Какие новые товары  
Вступили нынче в карантин?

Пришли ли бочки жданных вин?  
И что чума? и где пожары?  
И нет ли голода, войны,  
Или подобной новизны?

Но мы, ребята без печали,  
Среди заботливых купцов,  
Мы только устриц ожидали  
От цареградских берегов.  
Что устрицы? пришли! О радость!  
Летит обжорливая младость  
Глотать из раковин морских  
Затворниц жирных и живых,  
Слегка обрызгнутых лимоном.  
Шум, споры – легкое вино  
Из погребов принесено  
На стол услужливым Отоном<sup>1</sup>;  
Часы летят, а грозный счет  
Меж тем невидимо растет.  
Но уж темнеет вечер синий,  
Пора нам в Оперу скорей... (VI, 203–204).

Нарисованная Пушкиным картина его жизни в Одессе правдива – такова была реальность, в которой он жил. Но это была не единственная реальность, а, так сказать, празднично-поэтическая. Существовала и прозаическая реальность, и у нее совсем другое лицо. Прежде всего, Пушкина мучило безденежье, которое ощущалось в Одессе значительно острее, чем в Кишиневе, где к его услугам был всегда обед у Инзова, обед у Орлова, обед у Крупенского, обед у Бологовского, где жизнь текла патриархальнее, соблазнов меньше, а смягченная полууральским бытом бедность легче облекалась в поэтические одежды. В Кишиневе бедность напоминала о поэзии, в Одессе – о неоплаченных счетах. Пушкин писал брату: «Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить первом мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался<sup>2</sup>, в учителя не могу идти;

<sup>1</sup> Известный ресторатор в Одессе (примечание А. С. Пушкина).

<sup>2</sup> Ядовитый характер намека, скрытого в словах о необученности столярному ремеслу, раскрывается, если учесть, что столярному ремеслу в детстве был обучен М. С. Воронцов. Отец его, русский посол в Англии, писал 2/13 сентября 1792 года из Ричмонда брату А. С. Воронцову в Россию о неизбежности революции в России: «Мы ее не увидим, ни вы, ни я; но мой сын увидит ее. Поэтому я решил обучить его какому-нибудь ремеслу, слесарному или столярному, чтобы, когда его вассалы ему скажут, что они его больше не хотят знать и что они хотят разделить между собой

хоть я знаю закон божий и 4 правила — но служу и не по своей воле — и в отставку идти невозможно. — Всё и все меня обманывают — на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных. На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу и полно — крайность может довести до крайности» (*XIII*, 67). Через несколько месяцев, тоже брату: «Были бы деньги, а где мне их взять? Что до славы, то сю в России мудрено довольствоваться. Русская слава льстить может какому-нибудь В. Козлову<sup>1</sup>, которому льстят и петербургские знакомства, а человек не-много порядочный презирает и тех и других. Mais pourquo chantais-tu *но зачем ты поешь — франц.* — Ю. Л.>? На сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего цинизма» (*XIII*, 86). Вяземскому — с просьбой скорее прислать гонорарные деньги: «...пришли их сюда. Расти им незачем. А у меня им не за-лежаться, хоть я право не мот. Уплачу старые долги и засяду за новую поэму. Благо я не принадлежу к на-шим писателям 18-го века: я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола» (*XIII*, 89).

В прозаической жизни в Одессе — пыль, грязь, отсутствие воды, в поэтической — море, вино, опера и женщины. Обе реальны, и жить можно и в той и в другой, меняя регистры и стили существования.

Однако был мир забот и разочарований более горьких и мучительных. Именно он придавал пушкинскому пребыванию в Одессе основную окраску.

Цитированная выше строка из описания одесских разговоров: «И что чума? и где пожары?» — первоначально в черновиках читалась: «И что Кортесы иль пожары» (*VI*, 469). Кортесы — испанский парламент, созданный в результате революции под руковод-

---

его земли, он смог бы заработать на жизнь своим трудом и иметь честь стать одним из членов будущего Пензенского или Дмитровского муниципалитета». Обученность графа Воронцова столярному ремеслу, видно, обсуждалась в его одесском окружении и была известна Пушкину, который отнесся к ней иронически.

<sup>1</sup> В. И. Козлов — второстепенный литератор (не путать с известным слепым поэтом-романтиком И. И. Козловым!).

ством Риего. Разговоры на эту тему не были веселыми для Пушкина. Революция оказалась подавленной в результате военной интервенции, осуществленной Францией по поручению держав Священного союза. Риего был повешен вопреки торжественной присяге испанского короля. Дмитриев-Мамонов писал Орлову: «Сохранять т<sup>и</sup>ранов это приготовлять, ковать себе оковы еще более тяжкие, чем те, которые хотят уничтожить. Что же Кортесы! разосланы, распытаны, к смерти приговариваемы и кем же? — скотиною, которому они сохранили корону!»<sup>1</sup>

Отзывы о греческом восстании также исполнены горечи. «Греция мне огадила», — писал Пушкин Вяземскому (*XIII*, 99). Среди друзей распространился даже слух, что Пушкин сделался противником греческого движения, и он вынужден был объясняться: «Дело Греции вызывает у меня горячее сочувствие, именно поэтому-то я и негодую, видя, что на этих ничтожных людей возложена священная обязанность защищать свободу» (В. Л. Давыдову (?), подл. по-французски, *XIII*, 105 и 529).

И все же главный источник разочарований и горечи был в другом: нам трудно даже представить себе, каким ударом стали для Пушкина разгром кишиневской группы, арест Раевского и отстранение Орлова, зрелище открытого насилия и беззакония в действиях властей, трусости и предательства людей, еще вчера казавшихся единомышленниками или, по крайней мере, вполне порядочными.

Для того чтобы представить меру потрясения Пушкина, приведем один эпизод. Во второй половине января 1824 года Пушкин в обществе своего друга Липранди совершил поездку по Бессарабии. Во время посещения Тирасполя, где в крепости томился В. Ф. Раевский, он получил предложение от главного врага последнего, руководившего следствием над ним, генерала Сабанеева, посетить своего друга в темнице. Предложение было сделано во время дружеского ужина (брат Липранди являлся адъютантом и доверенным лицом Сабанеева и свел с ним Пушкина). Липранди, рассказавший об этом в своих

<sup>1</sup> Из писем и показаний декабристов. СПб., 1906, с. 153.

воспоминаниях, утверждает, что предложение «сделано было Сабанеевым с искренним желанием доставить ему *«Пушкину. – Ю. Л.»* и Раевскому удовольствие»<sup>1</sup>. Искушение, конечно, было очень велико, но Пушкин решительно отклонил предложение о встрече. Многое должно было произойти в душе Пушкина, чтобы он, чьим характерным свойством была доверчивость, проявил (в данном случае вполне обоснованную) подозрительность, угадав провокационное намерение. Более того, позже на вопрос Липранди о причине отказа он ответил весьма уклончиво: он подозревал и тут возможность измены (может быть, тоже не без оснований)<sup>2</sup>.

Измена и предательство становятся теперь постоянным предметом размышлений Пушкина. Позже Пушкин писал об этом времени:

Я зре...  
... Изменника в товарище пожавшем  
Мне руку на пиру, – всяк предо мной  
Казался мне изменник или враг (*III, 2, 996*).

Настроения эти были вызваны не только личными впечатлениями: разгром кишиневского кружка совпал с кризисной полосой в эволюции декабризма. Разочарование в идеологии длительной пропаганды, характерной для Союза Благоденствия, и переход декабристов к тактике военной революцииставил совершенно новые задачи, в свете которых отрыв передового человека от народа рисовался в особенно зловещем свете. Романтическому герою-одиночке предъявлялся упрек в эгоизме и неспособности понимать народ, а народу – в рабском терпении. Просветительская идея врожденной доброты и разумности человека подвергалась сомнению в целом. Все это вызывало трагические настроения у ряда декабристов. Трубецкой утверждал: «Конституцию мы написать сообразно с духом народа не можем, ибо не имеем довольно познания отечества своего», а Пестель говорил близкому к нему Барятинскому, «что он тихим образом отходит от общества, что это ребя-

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с 337.

<sup>2</sup> См.: Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский. М. – Л., 1949, с. 9 – 20.

чество, которое может нас погубить, и что пусть они себе делают, что хотят». Бобрищев-Пушкин «года за полтора или несколько более» «начал весьма сомневаться» в тактике и успехе дела декабристов. Трагические настроения захватили ряд передовых деятелей: 12 сентября 1825 года Грибоедов в письме другу С. Н. Бегичеву писал: «Пора умереть», — и намекал на возможность самоубийства.

В контексте таких настроений делается объясниной и беспримерная мрачность ряда деклараций Пушкина в это время:

Кто жил и мыслил, тот не может  
В душе не презирать людей (*VI*, 24).

[И взор я бросил на] людей,  
Увидел их надменных, низких,  
[Жестоких] ветреных судей,  
Глупцов, всегда злодейству близких.  
Пред боязливой их толпой  
[Жестокой], суетной, холодной,  
[Смешон] [глас] правды благо~~и~~родны~~и~~й,  
Напрасен опыт вековой (*II*, 1, 293).

Настроения эти остро выразились в лирике одесского периода, когда были созданы стихотворения «Свободы сеятель пустынnyй...», «Демон», «Недвижный страж дремал на царственном пороге...», «Зачем ты послан был и кто тебя послал?»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Одним из существенных вопросов, волновавших Пушкина, так же как и его декабристское окружение, было отношение к Наполеону. В лицейские годы под влиянием общественных настроений периода Отечественной войны 1812 года Пушкин написал стихотворение «Наполеон на Эльбе» (1815), проникнутое осуждением «губителя», который «Европе цепь ковал». Однако в годы реакции, последовавшей за победой союзников, в период, когда Священный союз стремился реставрировать дореволюционный порядок и утвердить его навсегда, в облике Наполеона стали усматривать черты «сына революции», разрушителя феодального порядка Европы. К этому присоединялся романтический ореол «мужа Рока», демонического гения, потрясшего мир усилием своей титанической воли. В этих условиях осуждение Наполеона не встречало уже сочувствия в передовых кругах, и В. Ф. Раевский подверг пушкинского «Наполеона на Эльбе» суровой и язвительной критике.

Однако образ Наполеона волновал декабристов и в другом отношении. В ходе споров по вопросам тактики внутри освободительного движения обрисовывались две тенденции: более умеренная, требовавшая, чтобы все революционные перемены совершались в рамках строго демократических процедур, и более реши-

В мемуарной и научной литературе широко распространено узкобиографическое толкование центрального стихотворения цикла «Демон». В нем видят портрет А. Н. Раевского, который, по словам Вигеля, поэт нарисовал в «Демоне». Такое толкование слишком прямолинейно и не учитывает сущности художественного творчества, в котором подчас видят автоматическое отражение биографических перипетий. Со стороны современников, далеких от понимания масштаба творчества Пушкина, это извинительно. Им свойственно было видеть в нем автора стишков «на знакомых». Нашелся же в Кишиневе читатель, который стих из «Черной шали»:

Неверную деву лобзал армянин (II, 1, 151), —

---

тельная, настаивавшая на необходимости революционной диктатуры. Сторонники первого пути указывали, что во Франции революционная диктатура переросла в военную, и напоминали об опасности бонапартизма. Особенное опасение у декабристов вызывало честолюбие Пестеля и Михаила Орлова. За первым умеренные деятели даже учредили тайный надзор, опасаясь его властолюбия и диктаторских замашек. Наполеон становился той загадкой, которую история загадала политическим свободолюбцам. От того, правильно ли будет она разгадана, казалось, зависели судьбы русской революции. Вопрос этот мучил и Пушкина: «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» (II, 1, 314).

Размыслия над историческим уроком судеб Европы в начале XIX века, Пушкин пришел к такой формуле: французская революция XVIII века — закономерный результат века Просвещения — провозгласила великие истины:

Вещали книжники, тревожились *«цари»*,  
Толпа пред ними волновалась,  
Разоблаченные пустели алтари,  
[Свободы буря] подымалась.

И вдруг нагрянула ... Упали в прах и кровь,  
Разбились ветхие скрижали... (II, 1, 314).

«Книжники» — философы-просветители, усилиями которых был уничтожен авторитет предрассудков и моральная власть церкви (*«пустели алтари»*). «Ветхие скрижали» — древние законы, уничтоженные революцией. Однако революция не привела к торжеству добродетели и утверждению Царства Свободы. Освобожденные от «ветхих скрижалей» феодализма, французы остались духовно рабами, и, когда явился «Муж судеб», они сменили старые цепи на новые:

Явился Муж судеб, рабы затихли вновь,  
Мечи да цепи зазвучали (II, 1, 314).

принял на свой счет и рассердился на поэта. Многочисленные указания современников на то, что Пушкин изобразил в своих стихах какое-то известное им лицо, как правило, имеют такую же цену. Среди «хора современников» не учтен один — сам Пушкин, который решительно протестовал против плоско биографического толкования этого важнейшего для него стихотворения как литературной фотографии одного из знакомых автора. Отвечая критику, который в печати прозрачно намекнул, что «Демон Пушкина не есть существо воображаемое»<sup>1</sup>, Пушкин писал:

Среди рабов до упоенья  
Ты жажду власти утолил,  
Помчал к боям их ополченья,  
Их цепи лаврами обвил (*II, 1, 214*).

Историческими итогами владычества Наполеона, по Пушкину, явилось, с одной стороны, пробуждение России, давшее толчок декабризму («Он русскому народу Высокий жребий указал» (*II, 1, 216*), и, с другой, появление нового типа европейского человека: честолюбца и холодного эгоиста:

И горд и наг пришел Разврат,  
И перед ним сердца застыли,  
За власть Отечество забыли,  
За злато продал брата брат.  
Рекли безумцы: нет Свободы,  
И им поверили народы.  
[И безразлично, в их речах],  
Добро и зло, все стало тенью —  
Все было предано презренью,  
Как ветру предан дольний прах (*II, 1, 314*).

5-й и 6-й стихи — перефразировка священного текста: «Несть Бога речет безумец в сердце своем». Это важно знать — Пушкин обожествляет Свободу в стихах, которые посвящены невозможности утвердить ее в мире эгоизма и корысти. В более поздних произведениях (см. «К велиможе») наступивший после Наполеона век эгоизма будет прямо определен как буржуазный. Это сделается одним из ключей к образу Германна в «Пиковой даме», от которого потянется нить — в пародийном отношении — к гоголевскому Чичикову, сходство которого с Наполеоном, конечно, не случайно, и — трагически — к Раскольникову Достоевского. Образ Наполеона становится в сознании Пушкина одним из тех многозначительных символов, которые соединяют художественное и научное в мышлении поэта: исторически он связан с рождением «денежного века», психологически — с безграничным честолюбием и презрением к людям и морали, художественно — с романтическим демонизмом.

<sup>1</sup> См. примеч. Б. В. Томашевского в кн.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч., в 10-ти т. Т VII. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 662.

«[Думаю, что критик ошибся]. Многие того же мнения, иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы, по крайней мере вижу я в «Демоне» цель иную, более нравственную» (XI, 30). Вообще прямолинейное биографическое толкование творчества поэта опасно: в самые драматические моменты своего пребывания в Одессе Пушкин создал идиллические строфы второй главы «Евгения Онегина».

Дружба с А. Н. Раевским наложила отпечаток на одесскую жизнь Пушкина, определив его отношения с широким кругом одесского общества. Александр Николаевич Раевский приехал в Одессу глубоко несчастливым и изломанным человеком. Непомерное честолюбие получило в нем раннее развитие: неполных семнадцати лет прославленный как герой и сын героя, двадцати двух лет — полковник, он был убежден, что судьба предназначила ему высокое поприще. Это убеждение разделяли и поддерживали в нем окружающие. Пушкин в 1820 году, едва познакомившись с А. Н. Раевским, писал, что он «будет более нежели известен» (XIII, 19). Затем наступило горькое разочарование: не хватало ума, силы характера и смелости, чтобы избрать себе любой из возможных неофициальных путей, официальные же жизненные дороги он презирал. Оказавшись на положении посредственности (а он был умен и посредственностью не был), он озлобился, тайно завидовал отцу, вероятно, ревновал Пушкина к его ранней славе и находил утешение в том, чтобы внушать провинциальным дамам ужас перед своим злым языком и мефистофельскими выходками. В Одессе он наслаждался своей скандальной славой нарушителя всех общественных условностей и страхом, который он внушал «приличному» обществу.

С Пушкиным его связала своеобразная «игра в дружбу», весьма далекая от тех дружеских связей, к которым Пушкин привык в Кишиневе. Между ними установилась столь же характерная «игра в литературу», перенесенную в жизнь и быт. Каждый из участников этого круга получал литературное имя, которое определяло тип его поведения, а вся жизнь

превращалась в непрерывную импровизированную пьесу. Раевский именовался Мельмотом. Имя этого героя романа Метьюрина — обольстительного злодея, продавшего душу сатане, погубителя чистой женской души, которая не может противостоять его чарам (роман был литературной новинкой), — обязывало Раевского к «демоническому» поведению (Раевский именовался также Демоном). И другие участники этой жизни-игры носили романтические маски. Киевский помещик Вацлав Ганский был Лара — демонический герой Байрона, а жена его, Эвелина Адамовна, именовалась, как романтическая дикарка, дитя природы из одноименного романа Шатобриана, — Атала. Распределялись и имена героев пушкинской поэзии: одна из участниц игры была Татьяна (кто, мы не знаем). Видимо, какое-то прозвище-маска было и у Пушкина. Оно осталось нам неизвестным.

Разыгравая в жизни романтические роли, участники этой игры вели себя в обществе дерзко, оскорбляя мелочные чувства благопристойности. Все понятия должны были быть демонически вывернуты наизнанку: любовь следовало отвергать, но ненависть была неотразима, дружба подразумевала предательство. Так, Пушкин с удовольствием писал в письме Раевскому о своих «коварных» планах, с помощью которых он собирался «очернить» «соперника» в глазах их общей страсти Каролины Собаньской: «Я не стану показывать вашего послания г-же Собаньской, как сначала собирался это сделать, скрыв от нее только то, что придавало вам интерес Мельмотовского героя,— и вот как я намериваюсь поступить. Из вашего письма я прочту лишь выдержки с надлежащими пропусками; со своей стороны я подготовил обстоятельный, прекрасный ответ на него, где побиваю вас в такой же мере, в какой вы побили меня в своем письме; я начинаю в нем с того, что говорю: «Вы меня не проведете, милейший Иов Ловелас<sup>1</sup>; явижу ваше тщеславие и ваше слабое место под напускным цинизмом «предательство» по

---

<sup>1</sup> Иов — библейский герой, обличавший бога в жестокости; Ловелас — герой-соблазнитель из сентиментального романа Ричардсона. Типична игра литературными масками.

отношению к другу заключается в том, что его цинизм разоблачается как напускной! – Ю. Л.» и т. д.; остальное – в том же роде. Не кажется ли вам, что это произведет впечатление?» (XIII, 70 и 526).

Эта игра имела для разных участников различный смысл. Раевский находил с ее помощью возможность занять экстравагантное место в обществе, что горько утешало его изломанное самолюбие. Для Пушкина эта игра в литературные страсти и измены позволяла заслониться от мира реальных измен, в который он заглянул в последние месяцы Кишинева и который не оставлял его в покое и в Одессе. А мир этот шел за Пушкиным по пятам: за тонкой корочкой «мельмотизма» и «байронизма» открывалась подлинная бездна реального административно-полицейского демонизма. Приведем один пример. В процитированном письме Раевскому Пушкин упомянул К. Собанскую, небрежно заметив: «Моя страсть в значительной мере ослабела». Вряд ли это было так. Прошло много лет, и в 1830 году, почти накануне своей свадьбы, он ей писал: «Сегодня 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни.

Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; я рожден любить вас и следовать за вами – всякая другая забота с моей стороны – заблуждение или безрассудство» (XIV, 62–63 и 399). Это было искреннее и страстное чувство. Кто же такая Каролина-Розалия-Текла Адамовна Собанская, урожденная Ржевская, по второму мужу Чиркович, по третьему – Лакруа? Красавица полька из образованной и знатной семьи, получившая блестящее воспитание, воспетая Мицкевичем, безумно в нее влюбленным, и Пушкиным, который был ей обязан «опьянением любви, самой конвульсивной и самой мучительной», она состояла любовницей и политическим агентом начальника Южных военных поселений генерала И. О. Витта. Витт, личность, грязная во всех отношениях, лелеял далеко идущие честолюбивые замыслы. Зная о существовании тайного общества (Пестель даже надеялся привлечь его на сторону заговорщиков и одно время был готов жениться на

рябой старой деве, его дочери), он взвешивал, кого будет выгоднее продать: декабристов правительству или, в случае их победы (что он не исключал), правительство – декабристам. Он по собственной инициативе шпионил за А. Н. и Н. Н. Раевскими, М. Ф. Орловым, В. Л. Давыдовым и в решительную минуту всех их продал. Предметом же особенных наблюдений его был Пушкин, к которому он подсыпал шпиона (Бошняка) даже в Михайловское, совсем уже удаленное, от поля его служебной деятельности. Собаньская – светская дама, сестра возлюбленной, потом жены Бальзака – была его шпионкой, собирала для него данные о Мицкевиче и Пушкине<sup>1</sup>. Как наивны были все салонные «предательства» Мельмотов и Демонов одесского света 1824 года на фоне такой реальности!

Но и игра оказывалась ненадежным прибежищем. Жажда подлинной жизни, жизни свободной, яркой, недоступной расчетам политики, жизни стихийной и потому истинной (параллель ей – образ моря в поэзии), вылилась в ту глубокую потребность любить, которой Пушкин был охвачен в Одессе.

Весь строй жизни пушкинского времени был таков, что любовь занимала в ней исключительное место. Любовь становилась основным содержанием жизни девушки до замужества, наполняла мысли молодой светской дамы. Она была естественным и основным предметом разговоров с женщинами и заполняла собой поэзию. Это была обязательная по жизненному ритуалу влюбленность с выполнением обряда признаний, писем и пр. Все это имело выработанные формы «науки страсти нежной» и, как правило, отстояло весьма далеко от подлинной страсти. Пушкин отдал раннюю и обильную дань этой жизни сердца, которая, в значительной мере, была ритуализованной игрой. По авторитетному свидетельству М. Н. Волконской, «как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеных

<sup>1</sup> Позже она оказывала шпионские услуги Бенкендорфу. Высланная после польского восстания 1830 г. из России, когда шеф жандармов перестал ей доверять, подозревая поленофильские симпатии, она горько жаловалась на неблагодарность русского правительства.

женщин и молодых девушек, с которыми он встречался (...). В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел»<sup>1</sup>. Таково свидетельство умной женщины, которую часто прощат в героини «утаенной любви» Пушкина. А вот слова наблюдательного и близко знавшего поэта в Кишиневе Липранди: «Пушкин любил всех хороших девочек, всех свободных болтуний»<sup>2</sup>. Тем резче бросается в глаза подлинная страсть его глубоких увлечений в Одессе. Любовь к Собаньской, любовь к А. Ризнич, любовь к Е. Воронцовой так страстно и мучительно заполняют короткое время его пребывания в Одессе, что психологически совершенно невозможно предположить отсутствие связи между столь высоким эмоциональным напряжением и трагическим кризисом мира интеллектуально-культурных ценностей, переживаемым им в это время.

С Амалией Ризнич, двадцатилетней женой одесского коммерсанта, Пушкин познакомился в июле 1823 года и пережил к ней сильное, хотя, видимо, непродолжительное чувство. Ризнич была высока ростом, с прекрасными, выразительными глазами и огромной черной косой, одевалась экстравагантно, носила непомерно длинные платья и мужские шляпы с огромными полями. Исследователи колеблются в определении стихотворений, навеянных этим чувством. Следует, в частности, назвать написанное на ее смерть (она умерла в 1825 году в нищете в Италии) «Под небом голубым страны своей родной...» и, возможно, «Для берегов отчизны дальней...».

К ней, бесспорно, относятся шутливые стихи в «Отрывках из путешествия Онегина»:

А ложа, где красой блестая,  
Негоциантка молодая,  
Самолюбива и томна,  
Толпой рабов окружена?  
Она и внемлет и не внемлет  
И каватине, и мольbam,  
И шутке с лестью пополам...  
А муж – в углу за нею дремлет (VI, 205),

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 214–215.

<sup>2</sup> Там же, с. 290.

а также совсем нешуточные стихи, которые, в силу их глубокой интимности, поэт выключил из «Онегина»:

Я не хочу пустой укорой  
Могилы возмущать покой;  
Тебя уж нет, о ты, которой  
Я в бурях жизни молодой  
Обязан опытом ужасным  
И рая мигом сладострастным.  
Как учат слабое дитя,  
Ты душу нежную, мутя,  
Учила горести глубокой.  
Ты негой волновала кровь,  
Ты воспаляла в ней любовь  
И пламя ревности жестокой (*VI*, 611).

В первых числах мая 1824 года Ризнич покинула Одессу. К этому времени чувство к ней Пушкина было уже вытеснено в его душе другим, не менее напряженным.

Елизавета Ксаверьевна Воронцова (урожденная графиня Браницкая), жена начальника Пушкина по службе М. С. Воронцова, была на семь лет старше поэта, что в его неполных 25 лет составляло существенную разницу. Однако она выглядела молодо, была хороша собой и отличалась утонченной любезностью полячки и светской дамы. Пушкин познакомился с ней осенью 1823 года. Привычное внимание к молодой и красивой женщине скоро перешло в глубокое и серьезное чувство. Очень трудно отделить в отношениях Пушкина и Воронцовой подлинные факты от догадок мемуаристов и биографов. Вернее всего довериться словам хорошо осведомленной жены друга Пушкина, В. Ф. Вяземской, которая так сообщала мужу о высылке поэта из Одессы: «Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни, как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании потолкуем об этом менее туманно, есть основания прекратить этот разговор. Молчи, хотя это очень целомудренно, да и серьезно лишь с его стороны»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Цит. по: Цяловская Т. Г. «Храни меня, мой талисман...» – «Прометей», 1974, 10, с. 30.

Любовь к Воронцовой переплелась с переживаниями совершенно другого плана: отношения между Пушкиным и его начальником стянулись в тугой, неразрешимый узел. Ревность Воронцова только придала этому конфликту окраску, корни же его лежали в другом.

Сквозь пестроту случаев, столкновений, конфликтов через всю жизнь Пушкина проходит одно неизменное чувство — чувство собственного достоинства. Оно лежит в основе общественных идеалов, ибо без веры человека в свою ценность нет свободы — ни общей, ни частной, оно составляет фундамент жизненной позиции. Именно чувство собственного достоинства определяло поведение Пушкина и в кругу друзей, и перед лицом врагов. Чувство собственного достоинства выучило его постоянно быть готовым пролить кровь, отстаивая свою честь, и великолепно держаться под дулом почти в упор направленного на него пистолета (обычная дистанция между барьерами при дуэли в России была близкой — от шести до двенадцати шагов). Чувство собственного достоинства заставляло его бороться за оплату писательского труда, поскольку он ясно понимал, что «поэтическая», в литературных представлениях, бедность в реальном быту обличается отсутствием независимости, бывшей для Пушкина синонимом чести. Именно на этой почве, в борьбе за достоинство личности, и было неизбежно столкновение Пушкина и Воронцова.

Михаил Семенович Воронцов, сын русского посла в Англии, англомана и фрондера С. Р. Воронцова, воспитывался в Англии. Он был участником кампаний 1812–1814 годов и храбро сражался на Еородинском поле. В 1815–1818 годах командовал русским корпусом во Франции и проявил себя как либеральный и даже оппозиционный военачальник, первым в истории русской армии отменив телесные наказания в своих войсках. Александр I относился к нему настороженно, а либералы начала 1820-х годов — сочувственно. Однако в глубине души это был честолюбивый и беспринципный человек, высокомерный по отношению к подчиненным. Декабрист С. Г. Волконский характеризует его как «ненасыт-

ного в тщеславии, не терпящего совместничества, неблагодарного к тем, которые оказали ему услуги, неразборчивого в средствах»<sup>1</sup>.

1822 – 1823 годы стали для Воронцова рубежом: время безопасного или даже выгодного для умелого карьериста либерализма кончалось; надо было выбирать между путем, в перспективе которого замаячил эшафот, и лестницами Зимнего дворца, прихожими Аракчеева. Декабристы сделали один выбор – их добрые знакомцы, приятели, а порой друзья, вроде Киселева или Воронцова, – другой. В приезд императора на юг в 1824 году Воронцов поразил всех неожиданной угодливостью, выходившей за пределы приличия. Воронцов был высокомерен, горд, держал себя не как русский генерал, а как английский лорд, но чувства собственного достоинства у него не было.

Таков был человек, который сделался в Одессе начальником Пушкина по службе.

Воронцов не думал обижать Пушкина: напротив, он принял в отношениях с ним свой обычный доброжелательный свысока тон, подчеркивавший и любезность начальника, и непроходимость дистанции между ним и подчиненными. Пушкин называл это тоном «оскорбительной любезности временщика». Поэзия была для Воронцова вздор. Вигель сохранил в записках такой разговор с Воронцовым: «Раз сказал он мне: «Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под вашим руководством?» – «Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами», – отвечал я. «Так на что же они годятся? – сказал он»<sup>2</sup>. Пушкин резко и щепетильно отстайвал свое достоинство от вельможных покушений. Это вызывало осложнения, усугубленные ревностью. Пушкин писал А. И. Тургеневу: «Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое» (XIII, 103). Воронцов, почувствовав себя безоружным перед остроумием и талантом противника, в котором он упорно отказы-

<sup>1</sup> Волконский С. Г. Записки. СПб., 1902, с. 325.

<sup>2</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 227.

вался видеть кого-либо, кроме мелкого чиновника своей канцелярии, прибег к доносам по начальству. Сохраняя при этом либеральную маску, он заверял общих знакомых, что заботится об интересах поэта: «Пушкин, вместо того, чтобы учиться и работать, еще более сбывается с пути. Так как мне не в чем его упрекнуть, кроме праздности, я дам о нем хороший отзыв Нессельроде и попрошу его быть к нему благосклонным»<sup>1</sup>. Он окружил Пушкина шпионской сетью, распечатывал его письма и непрестанно восстанавливал против ссыльного поэта петербургское начальство. Конфликт в связи со служебной командировкой «на саранчу» был спровоцирован Воронцовым. Пушкин просил об отставке, что в его положении опального чиновника могло быть истолковано как мятеж и дерзость.

Такова была ситуация, когда московская полиция распечатала письмо Пушкина, в котором он признался в своем увлечении «атеистическими учениями». Этого было достаточно. 8 июля 1824 года Пушкин был высочайшим повелением уволен от службы, 12 июля министр иностранных дел Нессельроде извещал генерал-губернатора Эстляндского и Лифляндского (являвшегося одновременно и военным губернатором Псковской губернии), что по приказу императора Пушкин выключен из службы и местом ссылки Пушкина назначена Псковщина.

1 августа 1824 года Пушкин в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова выехал из Одессы.

В годы южной ссылки имя Пушкина сделалось известным всей читающей России. Он узнал, что такое успех и слава. Основу его известности составили поэмы, получившие название «южных», как по месту их создания, так и по специфически «южному» романтическому колориту, заставлявшему современников вспомнить «восточные поэмы» Байрона.

<sup>1</sup> «Лит. наследство», 1952, т. 58, с. 42.

20 февраля 1821 года Пушкин закончил «Кавказского пленника» (опубликован в 1822 году), в 1821 – 1822 годах работал над «Братьями разбойниками», летом 1823 года завершил «Бахчисарайский фонтан». Поэмы эти, объединенные духом романтизма, вызвали острые критические споры и принесли Пушкину безусловное читательское признание.

«Эти поэмы читались всею грамотною Россиею; они ходили в тетрадках, переписывались девушками, охотницами до стишков, учениками на школьных скамейках, украдкою от учителя, сидельцами за приставками магазинов и лавок»<sup>1</sup>.

Пушкин прославился как «певец Кавказа» и кумир романтической молодежи. Однако сам поэт обгонял свою славу: 9 мая 1823 года он, разрывая с романтизмом, начал «Евгения Онегина», а в конце того же года – «Цыган». Творчество его искало новых путей. Новое творчество требовало нового мировосприятия. Давно назревшая биографическая катастрофа ускорила этот процесс.

Месяцы пребывания в Одессе напоминали насыщенный авантюрный роман: общение с политическими заговорщиками и раскинутая вокруг него шпионская сеть, любовь и ревность, сиятельный преследователь и помощь влюбленных женщин, планы бегства за границу (В. Ф. Вяземская даже доставала для Пушкина деньги, чтобы реализовать этот проект), а на заднем плане – лица всех социальных состояний и национальностей, включая «корсара в отставке» мавра Али, в красных шароварах и с пистолетами за поясом, в обществе которого Пушкин любил бывать. Теперь декорации менялись: перед Пушкиным снова лежала дорога. Дорога вела домой. Впереди было тихое Михайловское.



---

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 320.



## Глава четвертая

### в Михайловском 1824 – 1826

**В**

Михайловское Пушкин прибыл 9 августа 1824 года. В черновиках «Путешествия Онегина» он писал:

...я от милых южн<sup>ых</sup> дам,  
От <sup>жирных</sup> устриц черноморских,  
От оперы, от темных лож,  
И, слава богу, от вельмож  
Уехал в тень лесов Т<sup>ригорских</sup>  
В далекий северн<sup>ый</sup> уезд,  
И был печален мой приезд (VI, 505).

Приезд Пушкина домой был действительно печален. Он устал от скитаний и бедности. Однако Дом обернулся ссылкой, и, как бы для того, чтобы подчеркнуть противоестественность такого сочетания, родной отец поэта имел бес tactность принять на себя обязанности надзора над ссыльным сыном. Это привело к исключительно острым столкновениям между отцом и сыном и, в конечном итоге, к отъезду из Михайловского отца, матери, брата и сестры поэта. Пушкин остался в Михайловском один, в обществе няни Арины Родионовны.

Ссылка в Михайловское была тяжелым испытанием: разлука с любимой женщиной, одиночество, материальные затруднения, отсутствие духовного общения, друзей, развлечений могли превратить жизнь в непрерывную нравственную пытку. Вяземский писал: чтобы вынести ее, надо быть «богатырем духовным», и серьезно опасался, что Пушкин сойдет с ума или сопьется.

Однако Пушкин обладал активным, одухотворяющим окружающую жизнь гением: он не подчинился окружающему, а преобразил его.

Пребывание Пушкина в Михайловском было вынужденным и порой невыносимо грустным. По характеру и темпераменту Пушкин любил веселье,

толпу, дружеский круг и кипящие разговоры. Вынужденное одиночество, однообразие дневного распорядка в сочетании с зависимостью деревенского быта от капризов погоды – все это было для него непривычно и иногда мучительно. И тем не менее мы можем с уверенностью сказать, что пребывание в Михайловском в целом оказалось не только плодотворным для Пушкина-поэта, но и спасительным для него как человека.

Жизнь в Михайловском стала воплощенным контрастом со всем, что до сих пор было Пушкину привычно. Вместо толпы знакомцев и рассеяния – одиночество и сосредоточенность. Быт бедный, но не кочевой, а прочно сложившийся, подчиненный издавна заведенному распорядку. События редки и меряются совсем иными, домашними, комнатными масштабами: получение письма, поездка в Тригорское становятся происшествиями и окрашивают настроения дней, а иногда и недель.

Главное событие, основная сфера деятельности в этот период – творчество. Деятельность переносится внутрь души. В этой концентрации поэта на себе сошлись воедино внешние и вынужденные обстоятельства биографии с внутренними и органическими потребностями творчества, и все это окрасилось в особые, специфические тона, благодаря неожиданной смене впечатлений от окружающей природы (Пушкин покинул Одессу в самый разгар южного лета, а первое ощущение от природы Севера, после четырехлетнего перерыва, было связано с осенью). Народный быт и народная поэзия, атмосфера милых и тихих культурных гнезд провинциального дворянского мира, столь далеких от чиновной чопорности «милордов Уоронцовых»<sup>1</sup>, охватили его по приезде и создали совершенно особый тон его михайловской ссылки. В развитии Пушкина-писателя многое было связано с впечатлениями от каждодневной окружающей жизни, и, вместе с тем, сам пейзаж, быт, ежедневные впечатления выглядели по-иному потому, что Пушкин смотрел на них

<sup>1</sup> Так на английский манер пишет фамилию Воронцова Пушкин.

глазами реалиста. Причины и следствия здесь постоянно менялись местами.

Тот переворот, который произошел в творчестве Пушкина в Михайловском и выразился в создании произведений с отчетливо реалистической окраской, подготавливавшийся не только творчеством предшествующего периода, но и сложно преломленным жизненным опытом. Переживания Пушкина-человека оказывали исключительно мощное воздействие на его творчество. Однако это воздействие имело не такой упрощенный характер, как представлял себе один из исследователей Пушкина М. Гершензон, который искренне думал, что если в стихотворении описывается зима, то Пушкин и мог его написать только имея перед глазами снег, а столкнувшись с тем, что под автографом «Бесов» стоит помета «7 сентября. Болдино», заключил, что в стихотворении пейзаж не реальный, а аллегорический. Логика здесь такая: увидел снег — написал про снег, почувствовал приближение любви (вопреки прямому признанию Пушкина: «...я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась Муза») — написал, что узнает «сии приметы». Достаточно самого элементарного знакомства с психологией, чтобы понять, что даже процесс печения пирожков или кройки сапог требует гораздо более сложных психологических механизмов. О психологии же художественного творчества и говорить не приходится.

Соотношение личных впечатлений и художественных созданий значительно более сложно. С одной стороны, сфера собственного жизненного опыта поэта более подвижна и более «случайна», чем область коллективного опыта эпохи, определяющего появление таких общих явлений, как «романтизм» или «реализм». Это делает ее более динамической, подвижной. С другой, такие явления, как романтизм (или иные художественные направления), принадлежа к фактам эпохи, влияют и на личное поведение поэта, делаются фактами его биографии. Но тут вступает в действие противоположный процесс. Важнейшим элементом творчества является самонаблюдение; создавая вымышленные ситуации и вымышленных героев, поэт какие-то моменты живет их

жизнью. Поэтому, воплощаясь в реальном поведении поэта, та или иная норма культурного бытия делается для него одновременно объектом наблюдения и стороннего анализа. Это шаг к тому, чтобы из авторской позиции превратиться в тему его произведений. Воплощение в жизни становится шагом к изображению в литературе. В этом отношении «южный период» был для Пушкина большой школой.

Романтическое поведение требовало вести себя в жизни в соответствии с определенным литературным образцом, который становился маской, двойником данного человека. Все обыденное, простое, внелитературное из реальной жизни старательно удалялось, затушевывалось; если невозможно было удалить – его старались не замечать, о нем было «неприлично» говорить. Только то, что находило место в книге, достойно было существовать в жизни.

Такая литературная маска становилась постоянным спутником человека, его второй личностью. С ее помощью романтик понимал сам себя и придавал себе общественное лицо, предлагая другим толковать его характер в соответствии с этой маской. Не только пушкинская Татьяна «вообразжалась героиней / Своих возлюбленных творцов» – так поступали и многие молодые люди 1820-х годов. Приведем пример. В 1828 году барышня А. А. Оленина, которой еще не исполнилось двадцати лет, освободилась от детского увлечения А. Я. Лобановым-Ростовским (он был вдовец, на двадцать лет старше ее, увлечение носило книжно-романтический и совершенно платонический характер). Анализируя свои переживания, она сделала в дневнике следующую запись:

«20 июня. Приютино.

Как много ты в немного дней  
Прожить, прочувствовать успела!  
В мятежном пламени страстей  
Как страшно ты перегорела!  
Раба томительной мечты,  
В тоске душевной пустоты  
Чего еще душою хочешь?  
Как покаянье, плачешь ты  
И, как безумие, хохочешь.

Вот настоящее положение сердца моего в конце прошедшей бурной зимы»<sup>1</sup>.

Стихи, которые цитирует Оленина, принадлежат Баратынскому и посвящены известной откровенными и скандальными любовными связями красавице А. Ф. Закревской. Закревская, предмет любовных увлечений Пушкина, Баратынского, Вяземского, женщина, приближившаяся в эти годы к тридцатилетнему возрасту, в поэзии конца 1820-х годов была как бы эталоном бурной романтической героини. Пушкин в стихах называл ее «беззаконной кометой» и использовал в качестве прототипа для ряда романтических женских образов. Конечно, никакого психологоческого сходства ни с Закревской, ни с образом, нарисованным в стихотворении Баратынского, у реальной Олениной с ее полудетскими мечтательными увлечениями не было. Это ни в малой мере не мешало

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 266.

Характерно в этом отношении объяснение в любви С. М. Салтыковой (будущем жены Дельвига) и декабриста Петра Каховского: для того чтобы выразить свои чувства и найти для этих чувств слова, им надо поставить себя на место литературных героев романтических поэм и процитировать известные поэтические тексты. Признание выглядит так: «Он говорил мне в тот день множество стихов, я помогала ему, когда он что-либо забывал; произнеся:

Непостижимой, чудной силой  
Я вся к тебе привлечена —

я едва не сделала величайшего неблагоразумия; если бы я не вышла из рассеянности и сказала бы то, что думала в тот момент, я погибла бы, — вот что это было:

Люблю тебя, Каховский милый,  
Душа тобой упоена...

К счастью, я выговорила «пленик» ... он тотчас ответил с сияющим видом и радостным голосом:

Надежда, ты моя богиня,  
Надежда, луч души моей!»

А вот расставание: «Он не выпускал моей руки, которую держал крепко. Я могла бы тогда применить к себе самой те стихи, которые я слышала от него так часто.

Бледна, как тень, она дрожала;  
В руке любовника лежала

Ее холодная рука...» (Модзалевский Б. Л. Роман декабриста Каховского, казненного 13 июня 1826 года. — «Труды Пушкинского дома при АН СССР». Л., 1926, с. 61 и 67.)

Олениной отождествлять себя с такой литературной маской и пресеръезно пытаться играть роль «роковой женщины».

Романтическое поведение подразумевало срастание человека и его литературной маски — менять ее не полагалось. Поэт должен был всегда и везде быть поэтом, разочарованный — разочарованным, энтузиаст — постоянно демонстрировать пламень души, а мечтательница — погружаться в унылые размышления.

В этом отношении уже на юге, как мы видели, романтическое поведение Пушкина отличалось своеобразием: оно подразумевало не ориентацию на какой-либо один тип поведения, а целый набор возможных «масок», которые поэт варьировал, меняя типы поведения. В Одессе, когда смена стилей поведения и как бы «перемена лица» в обществе Раевского превратилась в своеобразную игру, сама природа романтического поведения стала осознанным фактом. Это повлекло два рода последствий. С одной стороны, поэт получил возможность взглянуть на романтическую психологию извне, как на снятую маску, что закладывало основы взгляда со стороны на романтический характер и объективного его осмысления. С другой, именно в бытовом поведении оформилась «игра стилями», отказ от романтического эгоцентризма и психологическая возможность учета чужой точки зрения.

Оба эти принципа стали ведущими для реалистического творчества Пушкина второй половины 1820-х годов и с наибольшей полнотой проявились в «Евгении Онегине». Основные причины оформления этих принципов творчества крылись в широких процессах культурного движения, в логике развития художественной мысли поэта, но и опыт формирования своей человеческой личности также играл большую роль.

Выработка «игры стилями» в жизни и игры стилистическими контрастами в поэзии имела общий психологический корень и общую цель — путь к простоте.

И здесь, как и на всех других этапах, ведущим в формировании Пушкина-человека было размыши-

ление над тем, что же такое поэт. Пушкин всегда строил свою личную жизнь именно как личность поэта. И если романтизм отвечал на этот вопрос утверждением, что поэт – это «странный человек» (любимое выражение Лермонтова), человек, ничем не похожий на других людей, то центральным убеждением в этом вопросе для Пушкина михайловского периода сделалась вера в то, что поэт – это «просто человек».

Понятие поэтического отождествляется теперь с обычным, каждодневным, а исключительное начинает казаться натянутым и театральным, лишенным истины и поэзии. Пушкин учится смотреть на мир глазами другого человека, менять точку зрения на окружающее и самому, меняясь, включаться в разнообразные жизненные ситуации. Это образует бытовое самоощущение, аналогичное художественному миру реализма.

Такой взгляд на жизнь позволял находить поэзию и источники красоты, истину и мудрость там, где романтик увидел бы лишь рутину, заурядность, прозу и пошлость. Черты ссылки порой отступали для Пушкина на задний план, и тогда в окружающем его мире деревенской жизни и в северном пейзаже выступал облик родного Дома. Мир этот овеевался поэзией интимности и, хотя реальное детство поэта никак с Михайловским связано не было, заменял пропавшее детство и отсутствовавшие детские воспоминания. Жизнь в Михайловском была скромной, даже скучной. Пушкин поселился не в парадных комнатах дома (да и помещичий дом в Михайловском был мал и неказист, «парадными» расположенные по фасаду комнаты могли называться лишь условно), которые оставались после отъезда всей семьи запертыми и зимой не отапливались. И. И. Пущин вспоминал: «Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате (на известной картине Н. Н. Ге «Пущин у Пушкина в Михайловском» комната значительно обширнее, чем в натуре. – Ю. Л.) помещались кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны

бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни»<sup>1</sup>.

Расположенные в этой части барского дома комнаты обычно предназначались детям и слугам (здесь же, в частности, помещалась девичья) — взрослые господа занимали основные, выходившие окнами на фасад. Видимо, в этой комнате Пушкина поместили, когда он приехал с юга, а дом был занят родителями. Но то, что он и после их отъезда не переехал в парадные покой и ютился в детской (даже залой со стоявшим там билльярдом он, по свидетельству Пущина, зимой не пользовался), знаменательно в такой же мере, как и заметное оживление именно в этот период «лицейских воспоминаний»<sup>2</sup>. Происходит как бы психологическое возвращение в мир детства.

Пушкину свойственно было следить за своим духовным развитием и отмечать его вехи<sup>3</sup>. В этом отношении он решительно не походил на таких поэтов, как Байрон или Лермонтов, чей духовный идеал отличался постоянством и которые сами конструировали свой внутренний образ как неизменный. Однако движение вперед мыслится Пушкиным как возвращение. В известном стихотворении «К\*\*\*» («Я помню чудное мгновенье...») содержится такая концепция духовного развития: первоначальное «чистое» состояние души — душевное затмение — возрождение как возвращение к светлому началу. Это светлое, «детское» как идеал нравственных

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 106.

<sup>2</sup> Показательно, что именно на этот период падает первое ретроспективное поэтическое обращение к Лицею, «19 октября» (1825). В более ранний период к лицейским годовщинам относится лишь, возможно, набросок «Мне вас не жаль, года весны моей...».

<sup>3</sup> На рубеже этапов своего развития Пушкин имел тенденцию собирать и пересматривать все до сих пор им написанное, создавая итоговые сборники. Так возникли замыслы изданий 1820 года (не состоялось), 1824 года (осуществилось в 1826 году), 1828 года (вышло в 1829 году).

устремлений также окрашивало жизнь в Михайловском.

Быт поэта был подчеркнуто прост, совершенно не включал в себя никаких элементов «помещичьих» забот и занятий. Даже такие обычные занятия дворянина в деревне, как охота, были исключены из его существования.

Главное дело Пушкина в Михайловском – литература. Вопрос об отношении поэта к жизни, к другим людям, о природе поэтического поведения и соотношении поэтического и реального занимает его в двух преломлениях: как писать и как жить. И снова бытовое поведение идет впереди творчества, указывая ему пути. В Одессе Пушкин в жизни открыл для себя сознательное стилистическое «многоголосие» – в Михайловском оно вошло в его творчество. В Михайловском Пушкин демонстративно отстаивал свое право на прозу жизненного поведения – на страницы его сочинений проза пришла позже, в конце 1820-х годов, победоносно закрепившись в Болдинскую осень 1830 года. Поэтическое поведение – это «странное», необычное поведение, которое способны осуществлять лишь исключительные личности и в исключительные минуты (поэтому «неисключительные», прозаические минуты из их жизни отбрасываются вообще: жизнь поэтической личности состоит как бы из отрезков, в которые она находится на сцене, в моменты же прозаических выявленияй – надо же ему, как и другим людям, поесть или сплюнуть – он как бы уходит за кулисы и «перестает существовать»). Прозаическое поведение обыденно, естественно и находится в соответствии с поведением других людей. При этом оно связано с тем, что человек не стыдится обыденности, внутренне не противопоставляет ее «высокой» жизни. Нет, сама простота воспринимается как поэзия. Такой взгляд определил отношение Пушкина к жребию поэта. Здесь господствует сочетание делового професионализма с представлением о правде как высшей ценности. Романтизм с этих позиций выступает как господство позы. В противоположность ему возникает идеал поведения, полностью чуждого позированию и какой-либо предвзятой роли. Романти-

ческий стиль поведения при этом не забыт. Он сохраняется в культурном арсенале (например, к нему Пушкин будет охотно прибегать в легких и неглубоких увлечениях сердца), но как игра, всегда с оттенком насмешки и пародии.

26 сентября 1824 года Пушкин написал стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом», которое опубликовал в качестве предисловия к отдельному изданию первой главы «Евгения Онегина». Это была декларация права поэта на правдиво прозаическое отношение к жизни. Стихотворение написано как диалог между человеком поэзии (Поэтом) и человеком прозы (Книгопродавцем), в котором пересечение различных точек зрения на поэзию завершается утверждением простоты как истины, смелостью свободного от всякой позы взгляда на жизнь:

Книгопродавец:

...Внемлите истине полезной:  
Наш век — торгаш; в сей век железный  
Без денег и свободы нет. <...>

Позвольте просто вам сказать:  
Не продается вдохновенье,  
Но можно рукопись продать... <...>

Поэт:

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся (II, I, 329–330).

Время пребывания в Михайловском совпало с напряженной борьбой Пушкина за профессионализацию писательского труда. Вопрос гонорара диктовался не корыстолюбием, а борьбой за хотя бы ту относительную свободу и человеческое достоинство, которые давала в России материальная независимость, при сознательном отказе от традиционных для русского дворянина источников существования: службы и помещичьих доходов.

В период Михайловского Пушкин энергично занимается своими издательскими делами. Задуманный сборник «Стихотворения Александра Пушкина», которому автор придавал очень большое литературное (а также и коммерческое) значение, потребовал немалых хлопот. Прежде всего надо было получить от Никиты Всеволожского рукописную тетрадь стихотворений, которой Пушкин еще в 1820 году

расплатился с приятелем в покрытие карточного долга в 1000 рублей. После переговоров через А. Бестужева и брата тетрадь была получена. Началось дополнение и переработка. 30 декабря 1825 года книга (помеченная на титуле 1826 годом) вышла в свет с эпиграфом из римского поэта Проперция, который в русском переводе звучал так: «Юность поет о любви – муж воспевает тревоги».

Но латинское слово *tumultus* означает не только «шум», «тревогу», но и «мятеж», «бунт», «восстание». Цензурное разрешение на книгу было дано 8 октября 1825 года, но поэт имел возможность снять эпиграф, который после 14 декабря 1825 года получал опасно актуальное звучание. Карамзин, взглянув на эпиграф, пришел в ужас и писал Плетневу: «Что это вы сделали? зачем губит себя молодой человек?»<sup>1</sup> Сборник, включающий в себя, в частности, стихотворения «Андрей Шенье», «Вакхическая песнь», «Наполеон», «Лицинию» и блестящий подбор любовной поэзии, зазвучал через две недели после подавления восстания на Сенатской площади как голос надежды, нарушивший молчание замершей литературы. О том, как был воспринят сборник читателем тех дней, лучше всего свидетельствует его неслыханный успех: 27 февраля 1826 года (через два месяца после выхода сборника) Плетнев писал Пушкину: «Стихотворений Александра Пушкина у меня нет ни единого экз., с чем его и поздравляю. Важнее того, что между книгопродающими началась война, когда они узнали, что нельзя больше от меня ничего получить» (XIII, 263).

«Стихотворения Александра Пушкина» поступили в продажу 30 декабря 1825 года. Их неслыханный в истории русской литературы успех был общественным фактом. Стихи Пушкина вселяли надежду, напоминая о жизни. В том, как читатели расхватывали тоненький томик стихов, чувствовался знак наступления нового времени: оппозицию романтических героев-одиночек разогнали штыками и картечью – пришло время другой, гораздо более опасной для правительства оппозиции – анонимной и неистреби-

<sup>1</sup> Русский архив, 1870, № 7, стб. 1366.

мой оппозиции общественных сил. И то, что первый же взор нового общественного сопротивления обратился к лирике Пушкина, – факт, исполненный глубокого исторического смысла. Ведь могла бы иметь место и другая реакция: читатель, подавленный мрачной атмосферой столицы декабря 1825 года, мог и не заметить какую-то книжку стихов в 200 небольших страничек. Мало ли было более серьезных забот! Но произошло иное: в трудную и трагическую минуту взоры русской публики с надеждой обратились к Пушкину.

В годы ссылки в Михайловском Пушкин становится признанным первым русским поэтом. Обязательные эпитеты Пушкин-лицейский, Пушкин-племянник, Пушкин-младший (для того, чтобы отличить от дяди – поэта Василия Львовича Пушкина) при упоминаниях его имени в переписке современников исчезают. Он делается просто Пушкин, и уже при имени В. Л. Пушкина прибавляется поясняющее «дядя». Выход в свет в марте 1824 года «Бахчисарайского фонтана» с предисловием Вяземского, в феврале 1825 года – первой главы «Евгения Онегина» и в конце того же года – «Стихотворений Александра Пушкина», журнальная полемика вокруг этих изданий, распространение (главным образом, через брата Льва, против воли самого поэта) его еще не напечатанных произведений ставят его на место, значительно возвышающееся над другими русскими поэтами. Дельвиг в письме от 28 сентября 1824 года, именуя друга «великий Пушкин», пишет: «Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты» (XIII, 110), а Жуковский в ноябре того же года выразился еще определеннее: «Ты рожден быть великим поэтом <...> По данному мне полномочию предлагаю тебе *первое* место на русском Парнасе» (XIII, 120).

Пушкин сознавал, что такое положение накладывает на него особую ответственность, и готовился к новой роли – организатора литературного движения.

Декабристы оказали сильное влияние на развитие русской журналистики, однако ни один из существовавших в ту пору журналов, по мнению Пуш-

Руки, ах! склоняясь смильные,  
Когда я говорю про то чудесное  
Чтоб быть с тобою здравее.

Руки, ~~какие~~ <sup>какие</sup> чудесные,  
Сколько любви виновной гаю,  
Сколько страсти, страшной  
~~честности~~ <sup>честности</sup> чисты!  
Сколько любви виновной  
Сколько страсти, страшной  
~~честности~~ <sup>честности</sup> чисты!



«Кавказский пленник». Автограф с рисунками. 1820.

кина, не находился во главе литературы. Состояние литературной критики его также не удовлетворяло. Значительно выше по составу участников и степени литературной нацеленности, чем все журналы, был ежегодный альманах Рылеева и А. Бестужева «Полярная звезда». Он начал выходить с 1823 года и объединил наиболее значительные литературные силы той поры. Однако в 1824—1825 годах появляются симптомы расхождений между все более укреплявшейся на путях декабристской гражданственности группой Рылеева—Бестужева, с одной стороны, и умеренно прогрессивными поэтами — Дельвигом, Баратынским и др. Организация Дельвигом альманаха «Северные цветы», соперничавшего с «Полярной звездой», способствовала обострению отношений. Оба альманаха стремились заручиться участием Пушкина.

В этом, как и в ряде других случаев, Пушкин вел себя обдуманно и осторожно, сознательно не связывая себя ни с одной из литературных группировок и партий. Одновременно он весьма твердо проводил свою программу, которая, в основном, сводилась к следующему: альманахи — маленькие ежегодные книжечки — не могли по самой своей природе быть оперативными и направляющими литературу изданиями. Для этого нужен был журнал. И Пушкин, опережая развитие литературы, начал пропагандировать идею создания толстого литературного журнала. Руководство журналом он явно хотел сосредоточить в своих руках, но понимал, что такое издание должно объединить всех честных и талантливых писателей России (именно *объединение* было важным пунктом его программы). Журнал должен говорить не от лица какой-либо группы, а быть авторитетным законодателем литературных мнений. В нем особое место отводилось бы критике, и Пушкин начал осторожные переговоры с двумя своими приятелями — ведущими критиками двух враждующих литературных группировок: Вяземским и Катениным, подготавливая их объединение в одном журнале. Литературный разгром, последовавший за 14 декабря 1825 года, сорвал эти планы.

Изолированный в псковской глупши, Пушкин был связан с литературной жизнью лишь тонкой ниточкой писем, которые читались бдительными чиновниками сыска, терялись на почте, у приятелей, через которых посылались. Однако главное литературное дело он совершал дома, за своим письменным столом. В Михайловском Пушкин много писал и много читал, много и чутко прислушивался к народной речи и народной поэзии. В письмах он не переставал подчеркивать, что ленится, много ездит верхом, о работе писал скромно, но непрерывно прося все новых и новых книг. На самом деле он жил в атмосфере почти непрерывного творческого напряжения, писал и учился. За это время им было написано следующее: закончены «Цыганы», написан «Борис Годунов», завершена третья и написаны четвертая – шестая главы «Евгения Онегина», «Граф Нулин», несколько десятков стихотворений, среди них такие значительные, как «К морю» (закончено в Михайловском), «Подражания Корану», «Жених», «19 октября», «Андрей Шенье» и многие другие. Пушкин работал над несколькими принципиальными литературно-критическими статьями, посвященными вопросам народности литературного языка. Большим трудом, отнявшим много усилий, стала работа поэта над своими записками. Труд этот он уничтожил после 14 декабря 1825 года. Если к этому добавить работу над подготовкой сборника стихотворений 1826 года и над не дошедшим до нас рукописным сборником эпиграмм, станет очевидно, сколь напряженной была литературная жизнь Пушкина в этот период и как интенсивен должен был быть его каждодневный труд. К этому следует прибавить массу прочтенных в это время книг: из Лицея Пушкин вынес поверхностное и несистематическое образование – в 1830-е годы он поражал современников глубокими и исключительно обширными познаниями в мировой литературе, истории, политической жизни, публицистике. Значительную часть этих сведений он приобрел в Михайловском. Наконец надо учесть серьезный, на уровне науки тех лет, интерес к фольклору, который поэт удовлетворял как знакомством с печатной литературой, так и записью устных источников. Брату

он писал: «Вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» (XIII, 121). Арина Родионовна была, видимо, талантливой сказительницей с выразительной манерой исполнения и разнообразным репертуаром.

Напряженный труд, скрывавшийся под маской «легкого безделья», не был продиктован простым желанием самообразования – он имел отчетливую цель. В Петербурге и на юге Пушкин чувствовал себя учеником своих друзей-декабристов. Его интеллектуальные усилия были направлены на то, чтобы «в просвещении стать с веком наравне» (II, 1, 187), догнать учителей и получить их признание. Однако тяжелые размышления 1823 года породили глубокие сомнения в идеях безнародной революционности. Одновременно народ предстал как огромная загадка – сочетание силы и рабского терпения ставило в тупик.

Главный смысл умственных усилий Пушкина в это время сосредоточен на том, чтобы понять ту силу, без которой всякий политический протест заранее обречен, – понять народ. Положение его как мыслителя меняется: на юге он был в толпе друзей, и главная задача состояла в том, чтобы не отстать, теперь он сознает, что вырвался вперед, идет один и именно на него возложена тяжелая работа познания. В этой ситуации Мысль становится главным оружием. На юге соотношение поэта и политика рисовалось так: политик-конспиратор знает пути и цели, а поэт – его помощник – распространяет эти идеи среди читателей, воодушевляет и воспламеняет бойцов перед битвой. Его задача почетна, но главное дело делают Орлов или Пестель, Н. Тургенев или Н. Муравьев. Теперь картина рисуется в другом свете: пути еще предстоит узнать, способы – взвесить; главное дело в том, чтобы понять, что же такое народ, и быть понятым им. В этих условиях мысль становится важнейшим действием, и именно поэт-мыслитель, вооруженный строгой правдой своего искусства, превращается в передового борца. Рылеев призывает Пушкина написать поэму в декабристском духе: «Ты около Пскова: там задушены последние

вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения – и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы» (*XIII*, 133). Пушкин не написал поэмы о Псковской республике, он написал «Бориса Годунова», не исповедь романтика, пользующегося историей как средством, а драму-исследование. История, как и фольклор, оказывается для Пушкина путем к познанию народной психологии, а историческое прошлое, изученное без романтической предвзятости, – средством познания настоящего.

Не только книги – среди них, в первую очередь, «История государства Российского» Карамзина, – сама окружающая местность располагала к историческим занятиям: места вокруг Михайловского наполнены памятью о Ливонской войне и походе Батория под Псков, а поместья Ганнибалов напоминали об эпохе Петра I и XVIII веке. Исторические труды, народные песни, окружающие пейзажи связывались воедино. «Борис Годунов» – свидетельство победы реализма в творчестве Пушкина. Ориентируясь на шекспировскую традицию, Пушкин сознательно уклонился от романтической тенденции превращать героев в рупоры авторских идей. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Истина удивительная, трезвость, спокойствие. Автора почти нигде не видишь. Перед тобой не куклы на проволоке, действующие по манипуляции закулисного фокусника». «Борис Годунов» – трагедия, проникнутая одновременно духом политической злободневности и верностью изображаемой эпохе. Раскрывая историческую обреченность антинародной власти, Пушкин одновременно показал глубокую противоречивость в позиции народа, сложно сочетающей силу и слабость. Судьбы всех политических сил определяются «мнением народным». Однако политическое сознание народа не поднимается выше осуждения «царя-Ирода» и противопоставления ему «младенца убиенного». На деле новый царь также оказывается убийцей. Народ в ужасе отшатывается от него. Круг замыкается.

«Борис Годунов» был драмой-исследованием. Среди пушкинских представлений об идеале поэтической личности появился новый оттенок: поэт-мыслитель, поэт-ученый, как Карамзин, и одновре-

менно поэт, «не мудрствующий лукаво», простодушным чувством истины и морали сближающийся с «мнением народным», как летописец. Соединение этих позиций Пушкин называл «взглядом Шекспира».

Общее изменение тональности жизни сказалось в стиле пушкинского досуга. Никогда еще одиночество не занимало в его жизни такого места: одиночные прогулки верхом, игра с самим собой на бильярде «в два шара», чтение. Общество Пушкина в этот период почти исключительно составляет многочисленное семейство соседней тригорской помещицы Прасковьи Александровны Осиповой. Самой Осиповой еще лишь сорок с небольшим лет. Это умная, прекрасно образованная женщина из культурной дворянской семьи. Отец ее, А. Вындумский, сотрудник журнала «Беседующий гражданин», знаяший лично Новикова и Радищева, был масоном, в Тригорском хранились еще его книги, а, возможно, и бумаги. Осипова, владея иностранными языками, следила за литературой. В библиотеку Тригорского попадали не только русские, но и европейские книжные новинки. Дом был полон молодежи: Осипова от первого брака с Н. И. Вульфом имела троих сыновей, из которых старший, Алексей, сделался близким приятелем Пушкина; и двоих дочерей, Анну и Евпраксию. Старшая, Анна, была лишь на полгода моложе Пушкина, вторая была моложе его на десять лет: ей в 1824 году осенью минуло пятнадцать лет. Кроме того, от второго брака у нее были две дочери в возрасте четырех и одного года. Сверх того, в доме воспитывалась также падчерица Осиповой Александра, которой было девятнадцать лет. Алексей Вульф, студент Дерптского университета, приезжал домой со своим товарищем — молодым поэтом Н. М. Языковым, тоже дерптским студентом. Со всем этим шумным и молодым семейством у Пушкина завязались тесные отношения: с Прасковьей Александровной его связала на всю жизнь теплая дружба, барышням он посвящал стихи, двумя из них — Анной и Александрой — даже был по очереди увлечен, с Евпраксией мерялся поясами — чья талия стройнее — и хвалил приготовленную ею для друже-

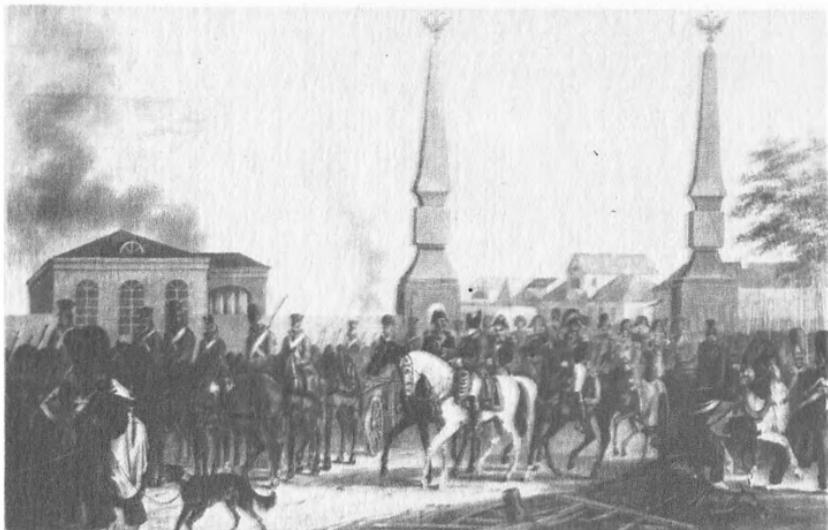


А. С. Пушкин. Гравюра Е. Гейтмана.  
Портрет был приложен к первому изданию поэмы  
«Кавказский пленник».



Город Пушкин (б. Царское Село). Лицей.  
Современная фотография.

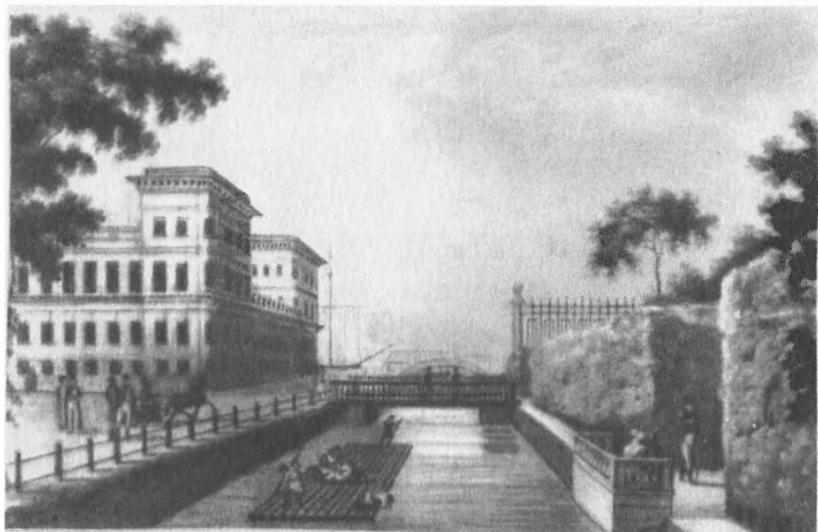
Бегство Наполеона из Москвы. Литография Эммингера.  
1820-ые годы.

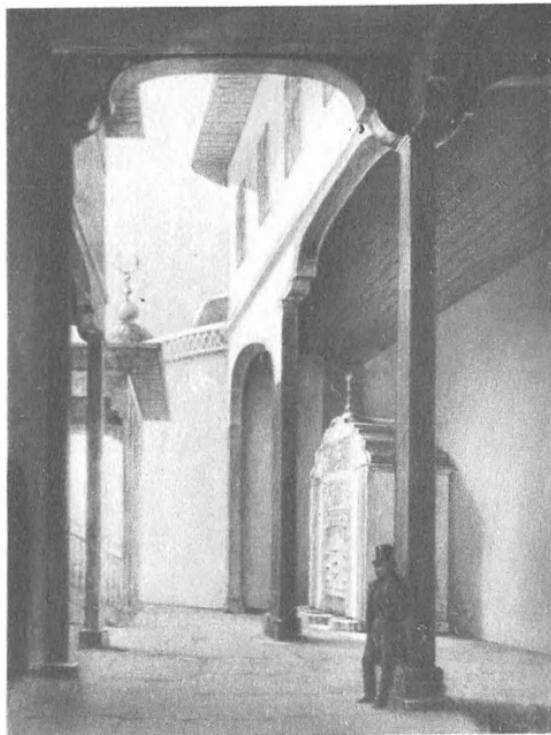




Петербург. Невский проспект.  
Литография. 1830-ые годы.

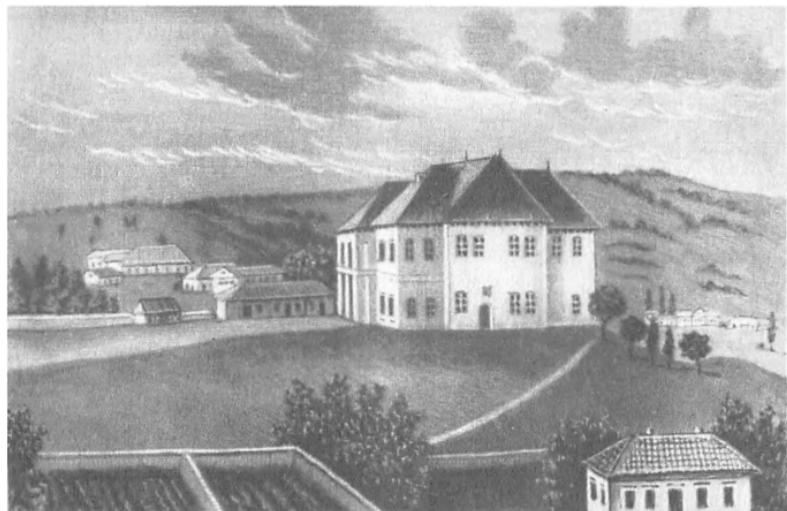
Петербург. Летний сад и Лебяжья канавка.  
Акварель неизвестного художника. 1820-ые годы.





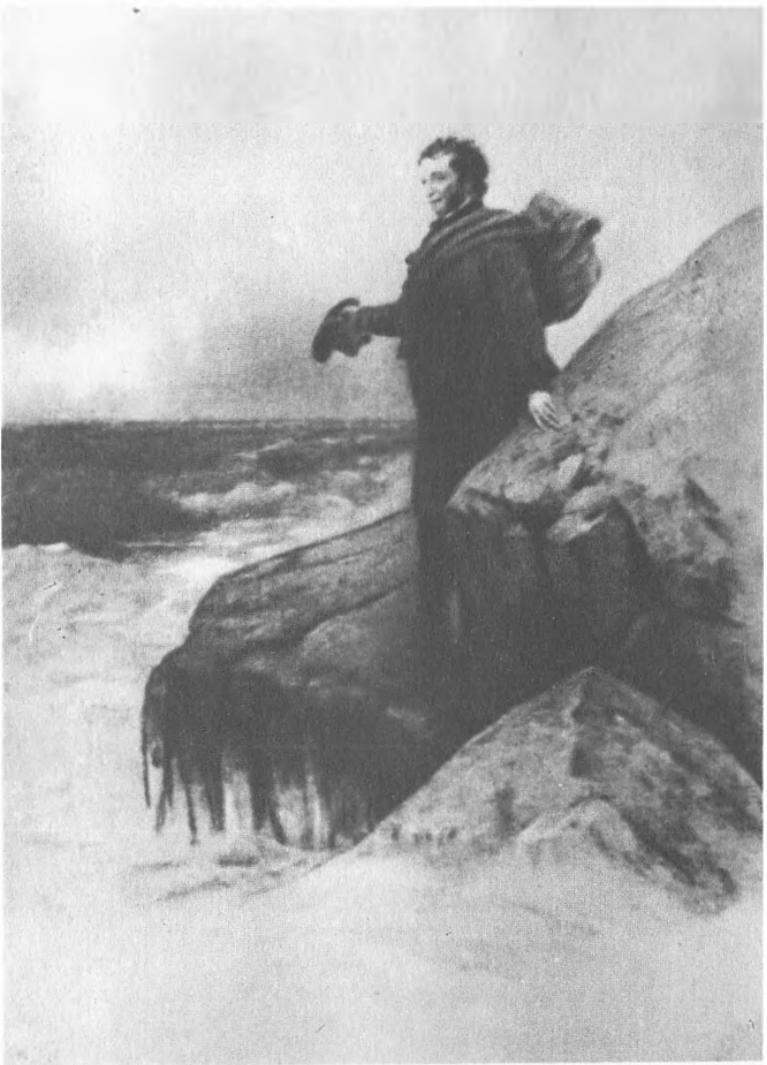
Пушкин в Бахчисарайском дворце.  
Рисунок Г. Чернецова.  
1837.

Дом Инзова в Кишиневе. Литография. 1840.





Пушкин в Каменке среди декабристов.  
Рисунок Д. Кардовского. 1934.



«Прощай, свободная стихия!»

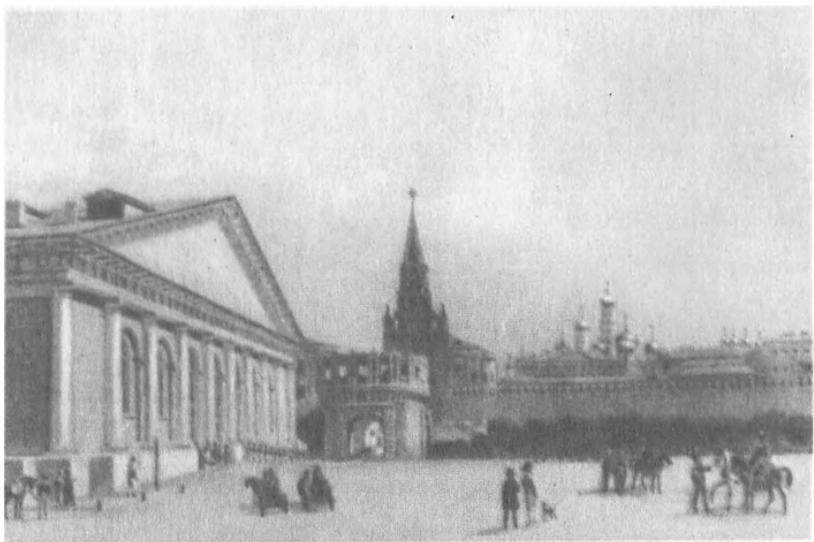
Картина И. Репина и И. Айвазовского. 1887.



Михайловское. Современная фотография.

Тригорское. «Скамья Онегина». Современная фотография.





Москва. Кремль. Гравюра. 1820-ые годы.

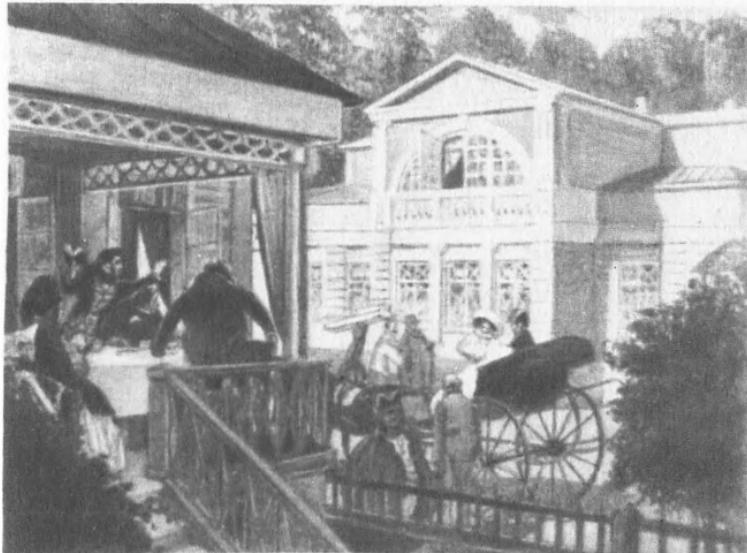


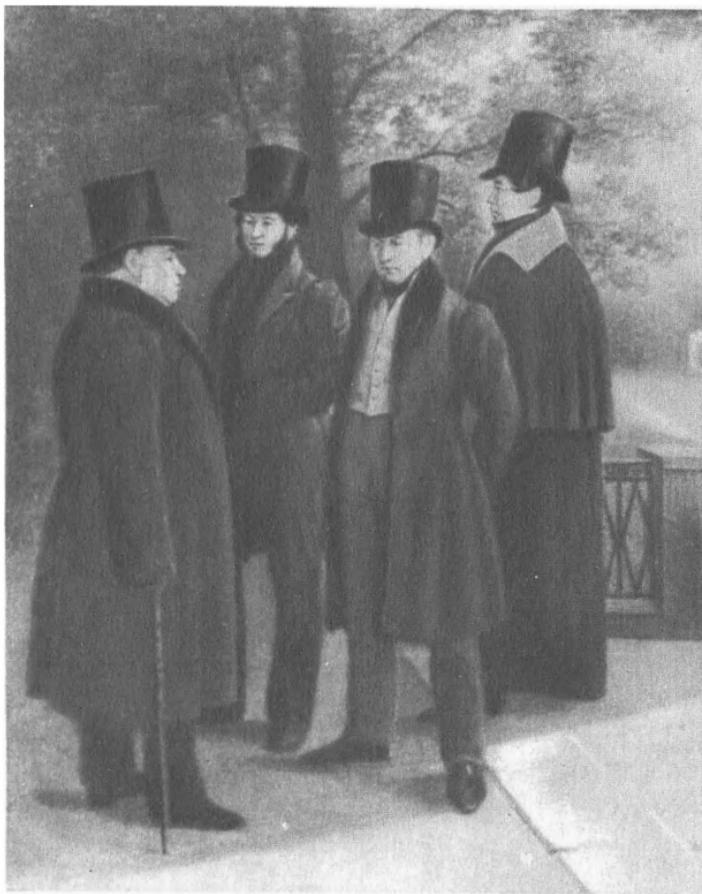
О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827.



Н. Н. Пушкина.  
Акварель А. Брюллова. 1831.

Пушкин в Царском Селе.  
Рисунок Д. Кардовского.





Группа писателей: И. А. Крылов, А. С. Пушкин,  
В. А. Жуковский, Н. И. Гnedич. Деталь картины  
Г. Чернецова «Парад на Марсовом поле».  
1836—1837.



Кондитерская Вольфа, из которой А. С. Пушкин отправился на дуэль.

Дуэль Пушкина с Дантеом. Картина А. Наумова. 1885.





Кабинет Пушкина.

Дом Волконского на Мойке. Последняя квартира  
Пушкина. Современная фотография.





А. Пушкин

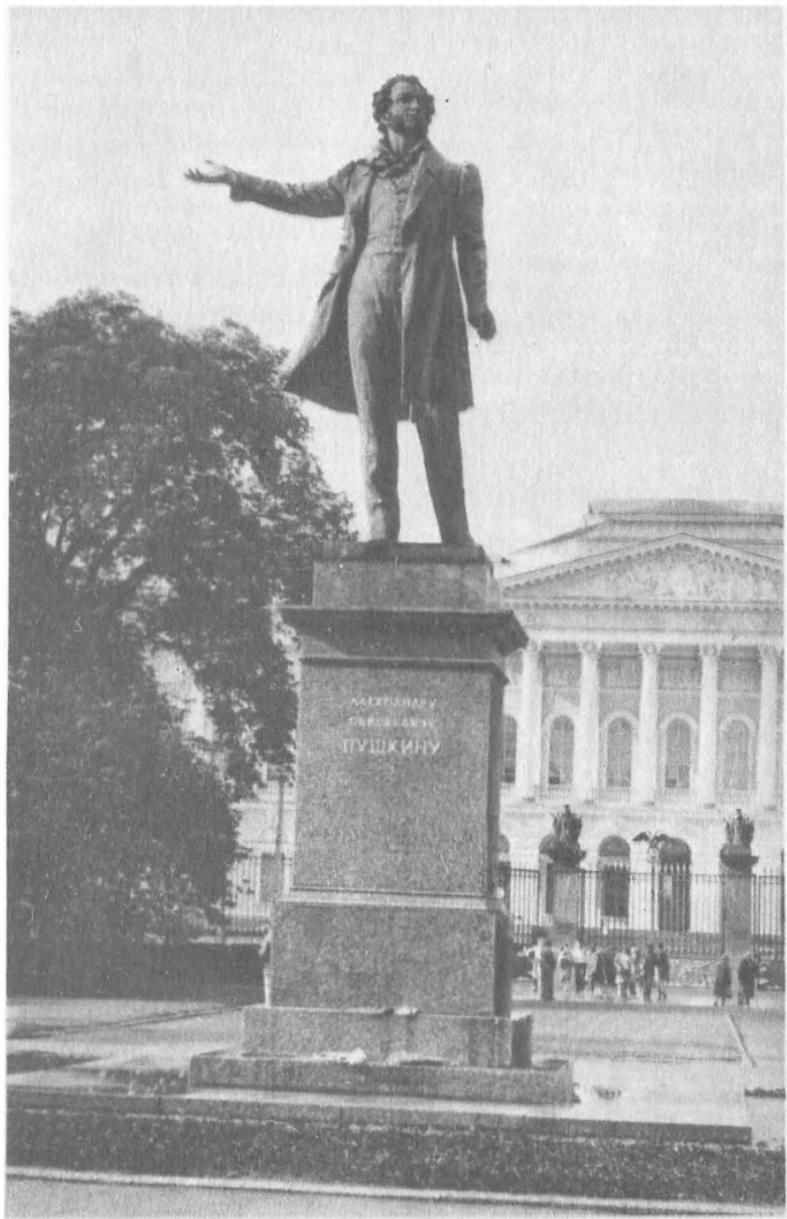
А. С. Пушкин. Гравюра Т. Райта. 1836—1837.



Москва. Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии.

Москва. Музей А. С. Пушкина.





Ленинград. Памятник А. С. Пушкину. Скульптор М. К. Аникушин.  
Архитектор В. А. Петров. Открыт 19 июня 1957 года. Фотография.

ских пирушек жженку. Сюда же, в Тригорское, привезжала знакомая Пушкину еще по Петербургу племянница П. А. Осиповой, двадцатичетырехлетняя Анна Петровна Керн. Красавицу Керн (в девичестве Полторацкую) шестнадцати лет выдали замуж за пожилого генерала. К моменту приезда в Тригорское она уже разошлась с мужем и пережила несколько сердечных увлечений. В Тригорском — Михайловском у нее произошел бурный, хотя и кратковременный роман с Пушкиным. История этого романа весьма показательна для того, как в это время преломлялось общее становление личности Пушкина в зеркале его любовных переживаний.

А. П. Керн в жизни была не только красивая, но и милая, добрая женщина с несчастливой судьбой. Ее подлинным призванием должна была стать тихая семейная жизнь, чего она, в конце концов, и добилась, выйдя, уже после сорока лет, вторично и весьма счастливо замуж. Но в тот момент, когда она в Тригорском встретилась с Пушкиным, это — женщина, оставившая своего мужа и пользуясь довольно двусмысленной репутацией. Пушкин полюбил ее. Однако любовное поведение Пушкина еще цепко держалось за те формы условной позы, которые в других сферах жизни были им уже отброшены ради простого самовыражения личности. Именно потому, что любовные отношения между людьми — область слишком ответственная, в которой самые незначительные оттенки выражения получают серьезное значение, здесь особенно удобны и держатся дольше привычные, готовые, ритуализированные формулы и стилистические штампы.

Искреннее чувство Пушкина к А. П. Керн, когда его надо было выразить на бумаге, характерно трансформировалось в соответствии с условными формулами любовно-поэтического ритуала. Будучи выражено в стихах, оно подчинилось законам романтической лирики и превратило А. П. Керн в «гений чистой красоты»<sup>1</sup>. Между тем в письмах

<sup>1</sup> То, что Пушкин воспользовался здесь цитатой из стихотворений Жуковского «Я музу юную бывало...» и «Лалла Рук»: «Ах! не с нами обитает/Гений чистой красоты», — лишний раз подчеркивает литературную условность этого образа.

к самой Керн он жаловался: «Отчего вы не наивны» (*XIII*, 214). «Вы не умеете или (что еще хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, себе хозяйка (зд. во французском тексте непереводимая игра слов: «себе хозяйка» одновременно означает и «любовница». – Ю. Л.) вольна быть любовницей. Боже мой, я не собираюсь читать вам поучения, но все же следует уважать мужа – иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете» (*XIII*, 212).

В письме к А. Н. Вульфу, которого он притворно ревновал к А. П. Керн, Пушкин принимает совсем другой, искусственно грубый тон, характерный для «мужской» переписки тех лет, именуя Керн «аввилюнской блудницей» (*XIII*, 275). Даже в одном и том же письме к Керн он предлагает ей на выбор два варианта возможной встречи (а встречи он жаждет!): романтический и прозаический. Он пишет: «Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на Остров (А. П. Керн находилась в Риге. – Ю. Л.) и приезжаете ... куда? в Тригорское? вовсе нет: в Михайловское! Вот великолепный проект, который уже с четверть часа дразнит мое воображение. Вы представляете себе, как я был бы счастлив? Вы скажете: «А огласка, а скандал?» Чорт возьми! Когда бросают мужа, это уже полный скандал, дальнейшее ничего не значит или значит очень мало. Согласитесь, что мой проект романтичен! – Сходство характера, ненависть к преградам, сильно развитый орган полета».

В письме Пушкин нашел более яркую и индивидуальную, чем в стихах, формулу для того, что связывало его с Керн: «Ненависть к преградам, сильно развитый орган полета.» Далее идет уже шутливое развитие романтического сюжета о том, как Керн порвет с тетушкой, будет тайком встречаться с тригорской кузиной, и проч. Тут же другой, прозаический тон: «Поговорим серьезно, т. е. хладнокровно: увижу ли я вас снова?» (*XIII*, 213–214).

Во всем этом много от игры, окрашивающей вообще отношение Пушкина к обитательницам Три-

горского. Время простого, свободного от литературности выражения своего чувства к женщине для Пушкина еще не пришло. Но есть здесь и нечто неизмеримо более серьезное. Пушкинская личность столь богата, что переживания ее не могут выражаться только в какой-либо одной жанрово-стилистической плоскости. Он одновременно живет не одной, а многими жизнями: его Керн — «гений чистой красоты», и «одна прелесть», и «милая, божественная», и «мерзкая», и «авилонская блудница», и женщина, имеющая «орган полета», — все верно и все выражает истинные чувства Пушкина. Такое богатство переживаний могло существовать лишь при взгляде на жизнь, перенесенном из опыта работы над страницей поэтической рукописи. В жизни совершивший поступок отсекает все нереализованные альтернативы: совершив одно, нельзя уже одновременно с ним совершить нечто противоположное. Поступок отнимает свободу выбора. В работе над рукописью можно, не зачеркивая одного варианта, разрабатывать другой, можно вернуться к отброшенному и восстановить его, можно, совершив выбор, одновременно пародировать его на том же листе бумаги. Это придает жизни поэтического воображения большую полноту и свободу, чем реальная жизнь. Пушкин не мог примириться ни с какой несвободой и переносил в реальность свободу поэзии, ее способность, реализуясь, сохранять многосторонность.

В этом смысле веселье, шутки, розыгрыши, почти серьезные, серьезные и совсем серьезные влюбленности, кипевшие в Тригорском, были полны смысла: сквозь флер и готовые штампы романтических коллизий проступали контуры той свободной, раскованной жизни, идущей по законам искусства, очерк которой Пушкин набросал в поэтической утопии лирики последних лет в самом конце своего пути — жизни, возвысившейся до искусства.

Но жизнь в михайловской ссылке меньше всего напоминала веселую идиллию любви, игры и творчества. Это была ссылка, и порой она делалась Пушкину невыносима. Не случайно он обдумывал планы бегства за границу через Дерпт, строя невероятные

проекты операции мнимого «каневризма в ноге», переведения слугой Вульфа и пр.

Соединение воедино родного дома, убежища от скитаний и гонений, и тюрьмы, места насильственного пребывания, малейшая отлучка из которого может быть расценена как бегство, было противоестественно и поэтому особенно тяжело. «Домашняя ссылка» была мучительна. Годы пребывания в Михайловском сделались для Пушкина временем, когда идеал подлинного родного дома, освященного любовью, все болезненнее возникал в сознании поэта. Черты такого родного гнезда он стал теперь приписывать Лицею. В Лицее он видел отчий дом, а в лицейских – братьев, забывая, что еще несколько лет назад всей душой стремился вырваться из царско-сельской «кельи». Именно в Михайловском Пушкин создал стихи, в которых все, что связывается с самыми интимными и сокровенными привязанностями человека, отдано Лицею («19 октября»).

Тем более волнующими событиями были посещения Михайловского лицейскими друзьями: И. И. Пущиным (11 января 1825 года) и А. А. Дельвигом (апрель 1825 года). Приезд Пущина, посетившего Пушкина первым, требовал мужества; А. И. Тургенев усиленно отговаривал его от этого опасного предприятия, а дядя поэта, Василий Львович, сначала пустился в предостережения, а потом кинулся обнимать со слезами, как героя. Но Пущин был не из пугливых: он давно уже член тайного общества, а 14 декабря покажет себя на площади как один из самых хладнокровных и деятельных руководителей восстания («Высочайшим указом» Николая I приговорен к двадцати годам каторги). Однако Пущин был не только мужественный, но и поразительно добрый человек. «Кто любит Пущина, тот непременно сам редкий человек», – сказал о нем Рылеев. В Сибири за постоянную заботу о других ссыльных друзья прозвали его Маремьяна-старица, а для определения его активного соучастия изобрали слово «маремьянство» (называть Пущина женским именем было особенно смешно, поскольку он был не только мужественный человек, но и высокий, стройный, до глубокой старости красивый мужчина).

И к Пушкину Пущин проявил нежную заботливость. Свидание было недолгим, а разговор — жарким: Разговор зашел о тайном обществе, и Пущин не скрыл от Пушкина своей к нему причастности. Вечером Пущин уехал. Позже он вспоминал: «Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку!»<sup>1</sup>. Через двенадцать лет, когда Пущин отбывал каторгу в Нерчинске, умирающий Пушкин назвал его имя.

А между тем в России было неспокойно...

13 – 14 декабря 1825 года Пушкин написал поэму «Граф Нулин».

А через три дня в Тригорское приехал повар Осиповых Арсений с известием о бунте на Сенатской площади.

Потянулись дни тревоги и неизвестности. Письма почти перестали приходить. Газеты скромно сообщали об арестах. В списках арестованных Пушкин с тревогой читал имена друзей. В конце января в Варшаве был арестован Кюхельбекер. Собственное положение Пушкина весьма сомнительно: он не знает, что и насколько известно правительству, и живет в тревожном ожидании. Друзьям в Петербург (через Жуковского) он наказывает: «Вам решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня» (XIII, 237).

И именно это время — время напряженной творческой активности. Творческое мышление идет сложными путями: в начале января 1826 года Пушкин закончил четвертую главу «Евгения Онегина» шутливыми стихами о предпочтении, которое он с некоторых пор отдает вину бордо по сравнению с шампанским «Аи». Затем с лихорадочной поспешностью пишутся пятая, а за ней — шестая глава романа, посвященные Одессе строфы, которые в дальнейшем вошли в «Путешествие Онегина», набросок перевода из Ариосто о ревности, задуманы «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери».

Господствующее настроение этих недель, видимо, — томительное ожидание. Пушкину было очевидно, что большая эпоха русской жизни, та эпоха,

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 111.

которую он знал, в которой вырос, деятели которой были ему понятны и знакомы, кончилась. Кончилось царствование Александра I – джентльмена и либерала, переступившего через кровь отца, много обещавшего, мало сделавшего, мечтательного друга Аракчеева, победителя Наполеона, русского царя, презиравшего Россию, меланхолического друга Карамзина и мстительного гонителя Пушкина. Кончился период богатырей 1812 года: Раевского, Ермолова, Витгенштейна, Милорадовича, время, когда еще жива была традиция Екатерины II – крупные должности занимают крупные личности. Кончилось время Тайного общества, время, когда гражданская твердость была в почете, звание «карбонария» – лестным, а в обществе ценилась независимость мнений и поступков. Каким будет новое время, никто не знал. Что за человек Николай Павлович, не знала не только Россия, но и дворянское общество. В гвардии его не любили за мелочную жестокость, за прецеделами казарм гвардейского корпуса им не интересовались. Будущее было неизвестно. Ясно одно: Россия переживает исторический момент и современникам выпало на долю видеть то, о чем внуки будут читать, и Пушкин был готов мужественно взглянуть в лицо этой новой эпохи, не предаваться романтическим жалобам, а постараться понять исторический смысл происходящего. Дельвигу в начале 1826 года он писал: «Не будем ни суеверны, ни односторонни – как фр.(анцузские) трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (XIII, 259).

Этот оптимизм поддерживается не только верой в правду исторического развития и стремлением к «шекспировской» объективности, но и надеждами на сравнительно легкие приговоры. В том же письме он писал: «Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя». В России со времен Елизаветы Петровны смертная казнь была уничтожена. Существовали, конечно, исключения (Пугачев, Мирович), однако за все прошедшее в XIX веке время не было ни одного смертного приговора (не шли в счет засекаемые насмерть солдаты и военные поселенцы, поскольку их формально не приговаривали к смерти,

во-первых, и они не были дворянами и как бы «не считались», во-вторых). Сама многочисленность обвиняемых, их принадлежность к лучшим семьям России, высокие связи, явное сочувствие их делу многих высоких сановников – все это заставляло ожидать, что торжествующее правительство проявит милость: под предлогом коронации или какого-либо другого торжественного события объявит широкую амнистию и смягчение наказаний. Даже Пестель, делавший на следствии убийственно откровенные признания, рассчитывал, что мерой наказания может быть разжалование его в солдаты. Никто не знал ни мелкой мстительности Николая I, ни того, что 14 декабря заставило его пережить унизительные минуты страха. Этого он никогда не мог забыть и простить поверженным декабристам.

Николай I в совершенстве изучил искусство величественности. Однако на самом деле это был человек, мучимый неуверенностью, мнительный, болезненно переживавший свою посредственность и мучительно завидовавший людям ярким, веселым, удачливым. Расправа с декабристами могла быть продиктована политическими соображениями, но в непонятной для современников мстительности, мелочном преследовании уже совершенно не опасных ему врагов крылось другое: император все еще завидовал этим когда-то блестящим, удачливым, ярким, насмешливым офицерам предшествующего царствования, при свете ума которых он, неодаренный, необразованный и неостроумный, уходил в непроницаемую тень. Николай Павлович знал, что его нельзя любить, – он хотел, чтобы его боялись.

24 июля Пушкин узнал о казни Рылеева, Пестеля, С. Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского. Казнь и каторжные приговоры потрясли Пушкина. В письме Вяземскому 14 августа 1826 года, посыпая трагический отклик на слух о том, что Н. Тургенев выдан английскими властями и морем доставлен в Петербург (слух оказался ложным):

... В наш гнусный век  
Седой Нептун Земли союзник.  
На всех стихиях человек  
Тиран, предатель или узник, –

Пушкин добавлял: «Еще таки я все надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» (*XIII*, 290 – 291).

Собственная участь была неизвестна.

В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года в Михайловское прискакал фельдъегерь с приказанием немедленно отправляться в Москву, где в это время находился в связи с коронацией Николай I. Приказано везти Пушкина «в своем экипаже свободно, не в виде арестанта», но сопровождение конвойного офицера было достаточно выразительным. Михайловская ссылка кончилась. Пушкин отправлялся в Москву на свидание с Николаем I.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "А.С.Пушкин".

# *Глава пятая*

## **ПОСЛЕ ССЫЛКИ**

**1826–1829**



### **П**

ушкин прибыл в Москву 8 сентября и прямо с дороги был доставлен в кабинет Николая I. Новый царь, всего лишь две недели тому назад официально коронованный, был только на три года старше Пушкина. Николай Павлович был высок ростом, строен и смолоду красив. Отличная

выправка гвардейского офицера позволяла ему держаться величественно и скрывать страх и неуверенность в себе, которые терзали его в первые годы царствования, пока лесть и бесконтрольность не вселили в него столь же неограниченную самоуверенность. Он получил весьма посредственное образование и обладал ограниченным кругозором фрунтового командира. Идея неограниченного деспотизма и божественного происхождения власти — жалкая и архаическая идеология крошечных немецких дворов — крепко держалась в голове его матери Марии Федоровны, которая сумела внушить ее младшим сыновьям — Николаю и Михаилу. Помноженная на мощь дворянского бюрократического государства и огромные материальные возможности России, эта идея дала самые мрачные плоды. Николай был убежден в том, что от подвластной ему страны он вправе требовать безоговорочного исполнения любых приказов. Не только любое проявление собственного мнения, вольной мысли, но и простое нарушение симметрии, идеалов казарменной красоты казалось ему невыносимым и оскорбительным. В сентябре 1827 года — через год после свидания с Пушкиным — Николай I встретил в Петербурге на Невском мальчика-гимназиста в расстегнутом мундире. Дело

это, стоявшее не более чем замечания губернера, стало предметом расследования как событие государственной важности. По приказу императора военный генерал-губернатор столицы Голенищев-Кутузов (тот самый, который распоряжался казнью декабристов) разыскал «виновного» и доносил: «Неопрятность и безобразный вид его, по личному моему осмотру, происходит от несчастного физического его сложения, у него на груди и на спине горбы, а сюртук так узок, что он застегнуть его не может». Военный генерал-губернатор Петербурга, генерал-адъютант лично осматривал больного мальчика, чтобы убедиться, что в его «безобразном виде» не кроется никакой крамолы! И император, прочтя это, не испытал стыда, а начертал резолюцию, предписывающую отослать задержанного к министру народного просвещения, последнему же последовал выговор: отчего «одели в платье, которого носить не может».

Этот, сам по себе ничтожный эпизод исключительно ярко рисует Николая I, о котором Бенкендорф писал: «Развлечение государя со своими войсками, по собственному его сознанию, – единственное и истинное для него наслаждение».

Однако мы не поймем отношений Пушкина с Николаем Павловичем, если будем смотреть на последнего, забывая, что в 1826 году многие отрицательные черты его характера еще были скрыты, и закрывая глаза на ряд привлекательных черт нового царя. Александр I был лукав и лицемерен, словам его не верили даже в близком кругу. Николай I, сознательно подчеркивая выгодный для себя контраст, разыгрывал прямодушного солдата, рыцаря своего слова, джентльмена. Он демонстративно устранил Аракчеева, вызвав вздох облегчения всей России. Административному бессилию последнего десятилетия царствования Александра I он противопоставил бурную и энергичную деятельность. Более того, начав царствование в обстановке мятежа, Николай понимал необходимость реформ. Мысли о крестьянской реформе весьма серьезно его занимали, к ним он возвращался и в дальнейшем. К этому следует прибавить, что, не будучи умен, Николай I обладал способностью быть по желанию величествен-

ным или милостивым, казаться искренним и обаятельным.

Разговор Пушкина с Николаем был продолжительным. Видимо, беседа коснулась широкого круга политических проблем. Николай I сумел убедить Пушкина в том, что перед ним — царь-реформатор, новый Петр I. Можно предполагать, что какие-то туманные заверения о прощении «братьев, друзей, товарищей» Пушкин получил. Именно со времени этой первой встречи с царем начинается для Пушкина та роль заступника за декабристов, которую он подчеркнул как важнейшее из дел жизни:

И милость к падшим призывал.

Пушкин не отрекся от дружеских связей с декабристами, напротив, он, видимо, умолчал относительно своих глубоких сомнений в декабристской тактике и решительно подчеркнул единомыслие, сказав, что если бы он случился в Петербурге, то 14 декабря был бы на Сенатской площади. Николай I, несмотря на торжественность коронационных празднеств, ясно понимал непрочность своего положения. Напуганный широкой картиной всеобщего недовольства, которую вскрыло следствие над декабристами, царь чувствовал необходимость эффектного жеста, который примирил бы с ним общественность. Прощение Пушкина открывало такую возможность, и Николай решил ее использовать. Он умело разыграл сцену прощения, обещая Пушкину свободу от обычной цензуры, которая заменялась личной цензурой царя. Пушкин был возвращен из ссылки и получил право самому выбирать место своего пребывания.

Подлинная цена этих «милостей» открылась перед Пушкиным позже. Обращаться к царю по поводу каждого стихотворения было, конечно, невозможно, и фактически лицом, от которого отныне зависела судьба пушкинского творчества и его личная судьба, сделался полновластный начальник III отделения канцелярии его императорского величества Александр Христофорович Бенкendorf. Сын эстляндского гражданского губернатора, Бенкendorf, конечно, не мог бы рассчитывать на столь блестящую карьеру,

если бы его мать не была близкой подругой императрицы Марии Федоровны. С детства связанный с павловским двором (пятнадцати лет его назначили флигель-адъютантом к императору Павлу) и безгранично преданный царствующей фамилии (известно любимое изречение Николая I: «Русские дворяне служат государству, немецкие – нам»), он ни в чем, однако, не походил на Аракчеева, игравшего при Александре I роль, сходную с той, которая выпала ему при Николае, и также прошедшего школу павловской службы. В отличие от Аракчеева Бенкendorf был не лишен образования. Аракчеев был неопрятен в одежде, подчеркнуто груб, кичился своей малограмотностью – Бенкendorf держался как светский человек, корректный в обращении. Не походя на трусивого Аракчеева, уклонявшегося от любого участия в военных действиях, Бенкendorf имел богатое боевое прошлое: он участвовал в ряде кампаний с 1803 по 1814 год и проявил себя как деятельный и храбрый генерал, однако подлинным призванием его стала не война, а политический сыск.

Наполеоновская Франция обладала самой развитой в Европе политической полицией, созданной Фуше. По сравнению с ней приемы политической полиции в России были грубыми и дилетантскими. При Александре I даже не существовало для нее единого организационного центра: министр полиции, начальник штаба гвардейского корпуса, петербургский и московский генерал-губернаторы имели каждый свою – как правило, мало эффективную – систему политического контроля и шпионажа. Зато находились охотники в частном порядке на свой страх и риск организовывать политический надзор. Так, начальник южных (одесских) военных поселений генерал Витт в 1826 году прислал в Михайловское своего агента Бошняка, который под видом ученого-ботаника собирал шпионские данные о Пушкине, располагая полномочиями в случае нужды арестовать поэта. Но дальше всех пошел Бенкendorf. В 1821 году он проник с помощью своего агента Грибовского, члена Коренной управы Союза Благоденствия, в самый центр декабристского движения и представил соответствующую информацию Алек-

сандрю I. Однако в полную меру активность Бенкендорф смог проявить лишь в царствование Николая I. Он явился одним из ведущих деятелей Следственного комитета по делам декабристов, а затем был назначен шефом корпуса жандармов и начальником специально учрежденного Николаем III отделения канцелярии его императорского величества. Это учреждение имело целью охватить всю Россию сетью тайного надзора. Бенкендорф не лишен был своеобразной честности: он не измышлял ложных обвинений, не преследовал личных врагов, в делах, прошедших через его руки, мы встречаем порой брезгливые заметки о лицах, делающих из корыстных видов ложные доносы. Однако он искренне считал литературу легкомысленным и вредоносным занятием, всякое проявление свободной мысли — подлежащим искоренению опасным мятеежом. Люди его интересовали как объекты наблюдения или потенциальные агенты сыска. Таков был человек, «отеческим заботам» которого Николай I вверил судьбу Пушкина. Пушкин Бенкендорфа явно раздражал, и он много сделал для того, чтобы отягчить участь поэта в последние десять лет его жизни. Но восходящее к Жуковскому противопоставление царской милости преследованиям Бенкендорфа<sup>1</sup> следует воспринимать критически: положение Пушкина определял Николай I, Бенкендорф был прежде всего исполнителем монарших предписаний и истолкователем воли царя.

Выйдя из царского кабинета в кремлевском дворце, Пушкин не мог предполагать, как тяжело и унизительно сложатся в дальнейшем его отношения с властью, — он верил, что ему довелось видеть великие исторические преобразования в момент их зарождения и что он сможет повлиять на их будущий ход. Он был настроен оптимистически.

<sup>1</sup> В порыве горя после гибели Пушкина Жуковский написал Бенкендорфу исключительно смелое письмо, в котором говорил: «Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покровительством оステпенить Пушкина и в то же время дать его гению, полное его развитие; а вы из сего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 363 – 364).

Бодрое настроение поддерживалось в нем единодушным восторгом, с которым московское общество встретило поэта. Он покинул столицу безвестным юношем. Александр I преследовал его, но царю и в голову никогда не пришло бы пускаться с ним в личные объяснения. Ссылка Пушкина взволновала лишь литературные круги, друзья журили его тогда как провинившегося мальчика. Возвращение его было торжественно. Царь беседовал с ним дольше, чем с любым из своих сановников, и после аудиенции во всеуслышание назвал умнейшим человеком России. Общество, подавленное репрессиями, боясь выражать свое недовольство прямо, находило отдушину в тех восторгах, которые расточало возвращенному из ссылки поэту. Торжество Пушкина в Москве 1826 года было как бы противовесом только что прошедшим тягостным официальным торжествам, связанным с коронацией. Пушкин находился на вершине славы. Престарелый В. В. Измайлов, в чьем журнале «Российский музей» в 1815 году было опубликовано первое подписанное собственным именем стихотворение Пушкина, приветствовал его из подмосковной деревни, несколько архаически выражая общий восторг: «Завидую Москве. Она короновала императора, теперь коронует поэта» (XIII, 297).

Одной из первых забот возвращенного поэта стала мысль о консолидации литературных сил. Еще в Михайловском он думал об объединяющем все талантливое журнале. Теперь он вернулся к этой мысли. Однако реализация планов встретила ряд трудностей: русская литература понесла значительные потери в результате правительенных репрессий, ряды писателей одного с Пушкиным поколения поредели — необходимо было налаживать связи с литературной молодежью. И делать это надо было именно в Москве: петербургская словесность понесла наибольшие потери, и центр литературы временно переместился в Москву.

Молодая московская литература второй половины 1820-х годов группировалась вокруг двух центров. Первый — журнал «Московский телеграф», издававшийся молодым и энергичным литератором Н. А. По-

левым с помощью давнего друга Пушкина П. А. Вяземского. Полевой — талантливый самоучка из купцов — был решительным поборником романтизма, которому старался придать радикальную политическую окраску. Литературная программа Полевого казалась Пушкину дилетантской. Надеяться, что Полевой откажется от своей, весьма определенной платформы, не приходилось, а Пушкин хотел связать себя с журналом, на курс которого он мог бы оказывать определяющее влияние. В этом отношении сближение с «Московским телеграфом» было бесперспективным.

Другой литературный центр составляла группа молодых литераторов, связанных с философским кружком «любомудров»: Д. Веневитинов, С. Шевырев, М. Погодин, В. Одоевский, И. Киреевский и др. Все они — выученики Московского университета, младшие братья декабристов, погрузившиеся в изучение немецкой эстетики и пропагандировавшие сочинения немецких романтиков. Свой философский кружок они распустили в период последекабрьских репрессий. Пушкин надеялся, что теоретические разногласия не помешают ему направить этих юных литераторов по желаемому ему руслу. Любомудры представляли собой новый и непривычный для Пушкина тип молодежи: умеренные в политике, преданные кабинетным занятиям, привычные к систематическому умозрению, серьезные и молчаливые, они заслужили в Москве кличку «архивных юношей» (по службе в Архиве министерства иностранных дел). В идеях любомудров вызревали как будущие мнения кружка Белинского — Станкевича, так и основы завтрашних концепций славянофилов. Пушкин с интересом приглядывался к этой молодежи, хотя внутренне оставался ей чужд.

Встреча произошла 12 октября 1826 года на квартире у Веневитинова. Пушкин читал еще не опубликованного «Бориса Годунова», песни о Степане Разине, недавно написанное добавление к «Руслану и Людмиле» — «У лукоморья дуб зеленый...». Вот как описывает М. Погодин это чтение: «Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор еще — а этому прошло

сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании (...) Надобно представить себе самую фигуру Пушкина. Ожидаемый нами величавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти низенький человек, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми быстрыми глазами, вертлявый, с порывистыми ужимками, с приятным голосом, в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом наглухо, в небрежно завязанном галстуке. Вместо языка Кокошкинского<sup>1</sup> мы услышали простую, ясную, внятную и вместе с тем пийтическую, увлекательную речь. Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков: «Да ниспошлет покой его душе, страдающей и бурной», — мы все просто как будто обеспамятали Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться (...) Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эван, эвое, дайте чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь<sup>2</sup>.

Узнав о планах московской молодежи издавать журнал, Пушкин поделился своими намерениями, и было решено объединить усилия. 24 декабря состоялся торжественный обед у Хомякова, которым отметили рождение нового журнала. С начала 1827 года журнал, названный «Московским вестником» (явное соединение названий двух знаменитых журналов Карамзина, выходивших в Москве: «Мос-

<sup>1</sup> Имеется в виду Ф. Ф. Кокошкин, известный театрал, ди-ректор Московских театров, славившийся в Москве мастерством декламации на классицистический лад.

<sup>2</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 27 — 28.

ковский журнал» и «Вестник Европы»), начал выходить. Пушкин рассчитывал на ведущую роль этого издания, а также и на значительные материальные выгоды (редакция должна была выплачивать ему за участие 10 000 в год<sup>1</sup>). Пушкин активно поддерживал журнал, опубликовав в нем сцены из «Бориса Годунова», отрывки из «Евгения Онегина» и ряд стихотворений («Черны», «Стансы», «Пророк», «Поэт» и др.). Однако в целом опыт сотрудничества в «Московском вестнике» оказался неудачным: журнал ориентировался на читательскую элиту, число читателей быстро падало, отсутствие боевой критики препятствовало широте литературного звучания. Коммерческий успех журнала был ниже всех ожиданий. Пушкин рано почувствовал разочарование. Уже 2 марта 1827 года он писал Дельвижу: «Ты пеняешь мне за Моск.~~овский вестник~~ – и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я говорю: «Господа, охота вам из пустого в порожнее переливать – все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы...» (XIII, 32).

Неудачный опыт сотрудничества в «Московском вестнике» обнаружил, что между Пушкиным и молодым поколением литераторов стали возникать трудности и взаимное непонимание. Одновременно выяснилось, что читательские требования к журналу не совпадали с представлениями издателей. «Московский телеграф» Полевого имел несравненно худшую литературную часть и не мог похвастаться громкими именами сотрудников. Однако у него был боевой отдел критики, обеспеченный статьями Вяземского и самого Полевого, и это принесло ему победу над «Московским вестником». Планы Пушкина оказать организующее воздействие на развитие современной ему литературы во второй половине 1820-х годов окончились неудачей.

---

<sup>1</sup> Фактически Пушкин этой суммы не получил. За первый год ему было выплачено лишь 1000 руб. В дальнейшем, видимо, еще меньше.

Жизнь, которую вел Пушкин в эти годы, была шумной и беспорядочной. Немногие из встречавшихся с поэтом в это время могли догадаться, что для него это время глубоких и почти трагических размышлений.

Основным вопросом, требовавшим осмыслиения, были итоги декабристского движения. Первой и непосредственной реакцией явилось чувство эмоциональной солидарности с жертвами правительственного террора. Пушкин не переставал подчеркивать свою озабоченность судьбой декабристов и не боялся многократно напоминать о них царю. 26 декабря 1826 года на вечере у Зинаиды Александровны Волконской – хозяйки аристократического салона, который был своеобразным культурным очагом в последдекабрьской Москве, – Пушкин встретился с отправляющейся в Сибирь за мужем Марией Волконской. Позже она вспоминала: «Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения: он хотел передать мне свое «Послание к узникам» («Во глубине сибирских руд...» – Ю. Л.) для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александре Муравьевой»<sup>1</sup>.

«Арион», десятая глава «Евгения Онегина», ряд неоконченных замыслов («Повесть о прапорщике Черниговского полка», роман «Русский Пелам» и др.) свидетельствуют о том, что мысль Пушкина постоянно обращалась к декабристам; известно пять рисунков Пушкина, изображающих виселицу с пятью казнеными декабристами<sup>2</sup>. Однако неудача восстания требовала объяснений. Еще в 1823 году Пушкину открылся глубокий разлад между декабристами и народом. Убеждение в том, что правительство намерено встать на путь решительных реформ, которое Пушкин вынес из разговора с Николаем I, естественно, склоняло мысль поэта к возможности «пути Петра I» – реализации прогрессивных общественных

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 215.

<sup>2</sup> См.: Эфрос А. М. Рисунки поэта. М. – Л., 1933, с. 356 – 364; Цявловская Т. Г. Новые автографы Пушкина. – Временник Пушкинской комиссии, 1963. М. – Л., 1966, с. 24.

чаяний путем системы проведенных правительством преобразований. Параллель между Петром I и Николаем I настойчиво приходила Пушкину на ум в эти годы.

Однако у вопроса имелся более глубокий, философский аспект. Декабристы были романтиками в своем подходе к истории. Мировые события определялись, по их мнению, героическими личностями, призванными руководить пассивной «толпой»; случайность рождения героя ускоряла или совсем изменяла ход исторических событий. В противовес этому Пушкин пришел к выводу о закономерности хода исторического развития: история рисовалась ему как поступательный процесс, определяемый глубоко скрытыми объективными причинами. В борьбе с романтическим субъективизмом Пушкин был склонен в 1826 – 1829 годах даже резко преуменьшать роль личной активности отдельного человека. В споре с личностью история представлялась ему всегда заведомо правой. Резкие антиромантические выпады сочетались в его сочинениях этих лет с прославлением победоносного хода Истории, которая в его мыслях чаще всего воплощалась в образе Петра Великого.

Однако признание безусловного приоритета общего над частным, истории над человеком, составляя глубокое убеждение Пушкина в эти годы, противоречило гуманному пафосу его творчества и являлось, в известной мере, плодом насилия над собой.

В истории духовного развития русской мысли выработка принципов историзма стала безусловным шагом вперед. Но этот шаг покупался ценой глубокого внутреннего раздвоения. «Исторический» взгляд на окружающую жизнь, которая на каждом шагу кричала о несправедливости, унижении человеческого достоинства и произволе, мог бы успокоить человека с ленивой душой и нетребовательной совестью. Пушкин не был таким: размышления о суровости исторических законов не усыпляли, а возбуждали у него нравственно-гуманистические требования.

Мысль Пушкина развивается в двух независимых и до определенного времени не сливающихся руслах: в законченных произведениях резко осуждается

эгоизм отдельной личности, не соизмеряющей своих желаний с законами исторического целого (седьмая глава «Евгения Онегина», «Полтава»), но в черновиках, набросках живет мысль о безотносительной ценности человека как такового. В 1826 году в черновиках шестой главы «Евгения Онегина» появилось:

Герой, будь прежде человек (*VI*, 411).

Мысль эта, пройдя через незавершенные тексты, выйдет на поверхность творчества в Болдинскую осень:

Оставь герою сердце! Что же  
Он будет без него? Тиран... (*III*, 1, 253).

Двойственность в отношении к миру была глубоко несвойственна Пушкину и наполняла его внутренним беспокойством, недовольством собой. Складывается интересный парадокс в соотношении жизни и творчества: в то время как в «Полтаве» истина приравнивается спокойному историческому взгляду в перспективе вековой дистанции («Прошло сто лет...»), в то время как мятежный Онегин осуждается и ему противопоставляется мудрая покорность Татьяны (седьмая глава романа), а в лирике Пушкин создает образ поэта-олимпийца («Поэт и толпа») – в жизни он менее всего приближается к идеалу мудрого созерцателя. В письме Погодину он почтительно ссылается на авторитет «великого Гете», «нашего Германского Патриарха» (*XIV*, 21), но трудно найти что-нибудь более отдаленное от «веймарского олимпийца», чем сам поэт в эти четыре года. Пушкин мечется, ему не сидится на месте: в 1826 году, после разговора с царем и краткого пребывания в Москве, он едет в ноябре в Михайловское, но в декабре уже возвращается в Москву, откуда в мае 1827 года едет в Петербург, в июне – в Михайловское, в октябре – снова в Петербург. В 1828 году – ряд неудачных попыток уехать в длительное путешествие: просьбы разрешить ему поездку в действующую армию на Турецкий фронт, за границу – в Европу, в Азию – встречают отказы. В октябре 1828 года Пушкин уезжает в тверское поместье Вульфов Малинники, откуда в декабре –

в Москву, но в начале января 1829 года он уже снова в Малинниках, откуда, после краткого пребывания там, едет в Петербург, а в начале марта он уже вновь в дороге: едет из Петербурга в Москву, где сватается к Н. Н. Гончаровой, и уезжает на Кавказ (Орел – Кубань – Тифлис – Карс – Арзрум). 20 сентября 1829 года он в Москве. Потом Малинники, Петербург, неудачные просьбы разрешить поездку за границу или сопровождать посольство в Китай, снова Малинники, Петербург, просьба разрешить поездку в Полтаву (отказ), Москва, 6 мая 1830 года – помолвка с Н. Н. Гончаровой и поездка с нею в имение деда невесты Полотняный завод (Калужская губ.), Москва, Петербург, Москва... 3 сентября 1830 года Пушкин женихом уезжает в отцовское поместье в Нижегородской губернии Болдино.

Не только стремление быть как можно больше в дороге обличает внутреннее беспокойство (дорога успокаивает, укачивает, отвлекает, в дороге быт и реальность отступают на задний план, легче думается, легче мечтается; не случайно Гоголь видел, сидя на месте, «свиные рыла», а в дороге – «птицу тройку»). Пушкин много и с каким-то ожесточением играет в карты. Между карточными «запоями» и тяжестью душевного состояния устанавливается прямая связь. Ограничимся одним примером. 2 ноября 1826 года Пушкин выехал из Москвы. Он ехал «со смертью в сердце» (XIII, 301). Царь заказал ему «Записку о воспитании». Заказ был трудный и двусмысленный: от него явно ждали информации, которую можно было бы использовать в целях сыска, прощупывали возможность привлечь к сотрудничеству<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В 1826 – 1829 годах правительство (в частности, Бенкендорф) усиленно зондировало возможность привлечения на службу – явную или тайную – влиятельных деятелей из числа оппозиционеров. Управляющим III отделением (вторым после Бенкендорфа лицом в этом учреждении) был назначен А. П. Мордвинов – двоюродный брат декабриста Муравьева, сам, видимо, не чуждый либеральных идей: по крайней мере сын его в дальнейшем привлекался по делу Петрашевского, был активным участником кружков 1860-х годов и сотрудником Герцена. Да и сам Мордвинов в 1839 году был уволен за неблагонадежность. Его преемник на этом посту и бессменный начальник штаба корпуса

Пушкин изложил свои мысли осторожно, но твердо, выскакался в защиту Н. Тургенева и в результате получил ответ, содержащий замаскированную вежливыми фразами угрозу. Писать Записку было тяжело и неприятно. Перед отъездом из Москвы он получил от Бенкендорфа нагоняй по совершенно неслыханному поводу: ему было запрещено не только публиковать, но и читать друзьям непроцензуренные свыше произведения. Сухо отчитав его за чтение «Бориса Годунова», Бенкендорф напомнил требование представлять через него все новые произведения государю. Пушкину пришлось уже с дороги писать Погодину с просьбой задержать все отанные в обычную цензуру произведения. Это было унизительно и убыточно. Из Михайловского надо было ехать в Москву («...она велела», — писал он Вяземскому, XIII, 304). Но отношения с «ней» тоже были запутанными. Пушкин в Москве увлекся красавицей Александрой Александровной Римской-Корсаковой, и одновременно почти в нем вспыхнуло чувство к дальней родственнице, С. Ф. Пушкиной, которой он даже делал предложение. Этот клубок надо было распутывать в Москве. И вот по пути из Михайловского Пушкин, обрадовавшись предлогу (выпал из саней, ушиб грудь и бок), засел в Пскове и проигрался в пух (в письме Вяземскому: «Во Пскове вместо того, чтобы писать 7-ую гл.〈аву〉 Онегина, я проигрываю в штосс четвертую: не забавно», XIII, 310).

Однако игра в карты привлекала и другим. В ней имелась поэзия риска. Если философия историзма, в

---

жандармов генерал Л. В. Дубельт — друг М. Ф. Орлова, близкий южным декабристам, — по указанию так называемого «Алфавита декабристов» (секретного документа, составленного лично для Николая I), замечен «принадлежащим к тайным сходбищам в Киеве» (см.: Эйдельман Н. После 14 декабря. — В кн.: «Пути в незнаемое», сб. 14. М., 1978). К сотрудничеству с правительством привлекаются (а порой — принуждаются) поэт Перовский, Грибоедов, Вяземский, Булгарин и Греч также были известны в первую половину 1820-х годов, прежде всего, как либералы, люди ближайшего декабристского окружения. Именно к этому кругу литераторов, наряду с Пушкиным, обратился Бенкендорф с предложением написать аналогичные записки. Это была глубокая разведка.

том виде, как она раскрывалась на первых этапах своего формирования, исключала случайность и не оставляла простора для непредвиденных поступков, то в личном поведении Пушкин «исправлял» теорию жизнью, испытывал неудержимую потребность игры с судьбой, вторжения в сферу закономерного, дерзости. Философия «примирения с действительностью», казалось, должна в личном поведении порождать самоотречение перед лицом объективных законов, смирение и покорность. У Пушкина же она приводила к противоположному — конвульсивным взрывам мягкого непокорства. Пушкин был смелым человеком. Липранди, которого по этой части трудно было удивить, вспоминал: «...предмет, в котором Пушкин никогда не уступал, это готовность на все опасности. Тут, по крайней мере в моих глазах, он был неподражаем (...) Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь становилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блестали, и вдруг часто он задумывался. Не могу судить о степени его славы в поэзии, но могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нем, конечно, он был бы лицом замечательным; но, с другой стороны, едва ли к нему не подходят слова императрицы Екатерины II, сказавшей, что она «в самом младшем чине пала бы в первом же сражении на поле славы»<sup>1</sup>.

Пушкин был смел, и смотреть в лицо опасности было для него потребностью, а избавляться от угрозы прямыми и решительными действиями — естественным импульсом. Однако обстоятельства складывались совсем не так, как ему представлялось, когда он покидал кабинет царя в Кремле. С самого начала он оказался втянутым в мелочные и непрерывные неприятности, которые то затухали, то грозно разрастались, но не прекращались уже до самой его смерти.

---

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 326 – 330. Слова Екатерины II были сказаны принцу де Линь.

Опасности приходили неизвестно откуда, обвинители и доносчики почти всегда оставались неназванными. Лицо, которое можно было бы привзвать к ответу и поставить у барьера, расплывалось и уходило в бюрократический туман.

Между Пушкиным и Бенкендорфом (прямой доступ к царю был возможен лишь в самых исключительных случаях) установились тяжелые и оскорбительные отношения строгого надзирателя и поднадзорного мальчишки. По всякому пустяковому поводу поэт должен был выслушивать или читать письменные строгие выговоры, оправдываться, благодарить за снисхождение и отеческие наставления. Следует вспомнить, как не терпел Пушкин «покровительства позор» даже со стороны друзей, чтобы представить себе, каково было ему терпеть это от сухо недоброжелательного к нему Бенкендорфа. Однако не замедлили появиться признаки больших опасностей.

Пушкин обладал необыкновенным даром привлекать к себе симпатии. Поэт Аркадий Родзянко, приятель Пушкина, сам допустивший однажды против него злой выпад, писал после смерти поэта:

Его напевов – жаждал слух,  
Его лица – искали очи!<sup>1</sup>

Но именно такие люди и имеют многочисленных врагов: «ум, любя простор, теснит», а талант провоцирует зависть. 17 января 1824 года, в то время, когда Пушкин находился в Тирасполе и генерал Сабанеев искушал его провокационным предложением повидаться с В. Ф. Раевским, военный генерал-полицмейстер I армии И. Н. Скобелев (в будущем комендант Петропавловской крепости и известный военный писатель) писал главнокомандующему I армии: «Не лучше ли бы было юному Пушкину <...> запретить издавать развратные стихотворения?.. Если бы сочинитель вредных пасквилей немедленно, в награду, лишился нескольких клочков шкуры, было бы лучше»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Вацуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянко. (Из истории гражданской поэзии 1820-х годов.) – Временник Пушкинской комиссии, 1969. Л., 1971, с. 68.

<sup>2</sup> «Русская старина», 1871, декабрь, с. 670 и 673.

Прошло несколько лет, и в руки Скобелева (через его агента) попала копия стихотворения Пушкина «Андрей Шенье», на которой учитель А. Ф. Леопольдов сделал надпись: «На 14-е декабря». В августе 1826 года Скобелев с соответствующим доносом переправил стихи Бенкендорфу, который запрашивал его: «Какой это Пушкин, тот ли самый, который живет во Пскове, известный сочинитель вольных стихов?» Вероятно, именно тогда Бенкендорф впервые обратил внимание на фамилию Пушкина. Царь призвал поэта и разыграл сцену прощения и примирения, но следствие не прекращалось. Оно шло своим ходом. В январе 1827 года Пушкин по распоряжению Бенкендорфа был допрошен Московским обер-полицмейстером. Он разъяснил, что заглавие дано не им и произвольно, а стихотворение написано задолго до декабрьских событий. Однако дело тянулось до конца мая 1828 года. Итогом оказалось учреждение по решению Государственного совета секретного надзора над Пушкиным (надзор был официально отменен лишь много лет спустя после гибели поэта).

Не успело завершиться это дело, как началось новое, еще более неприятное для Пушкина. Дворовые люди штабс-капитана Митькова подали по начальству жалобу на своего барина, развращающего их чтением «Гавриилиады». Началось расследование, которое грозило Пушкину самыми неприятными последствиями. Вызванный к петербургскому военному генерал-губернатору, Пушкин отрекся от авторства поэмы, показав, что «в первый раз видел «Гавриилиаду» в Лицее в 15-м или 16-м году»<sup>1</sup>, и в неопределенной форме назвал автором Д. Горчакова, который давно уже был в могиле, вне досягаемости блюстителей порядка. Однако III отделение было хорошо информировано. Провести его не удалось. Пушкину пришлось вступить в личные объяснения с Николаем I, после чего дело прекратили. Объяснение, видимо, далось Пушкину нелегко.

Эти расследования убедили поэта, сколь хрупкой является его свобода, как пристально и бдительно

<sup>1</sup> Рукою Пушкина. М. – Л., 1935, с. 749.

внимание, обращенное на него. При этом приходилось опасаться не только Николая I или Бенкendorфа. Неудача декабрьского восстания гибельно отразилась на общественно-политическим развитии России. Прямыми следствием победы Николая I и удаления из общественной жизни лучшей части дворянской молодежи явилось резкое падение общественной нравственности. Внезапно появилась целая армия доносчиков-энтузиастов, осаждающих власти добровольными «денонасиями», так что даже III отделение порой жаловалось на слишком нахальных своих доброхотов. Один из мемуаристов вспоминал: «Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки; вся бродячая дрянь, неспособная к трудам службы; весь сброд человеческого общества подвигнулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом»<sup>1</sup>. Быть шпионом стало не стыдно, а выгодно. В черновиках «Путешествия Онегина» есть строки:

Замечен он – об нем толкуст  
Велеречивая Молва,  
Им занимается Москва,  
Его шпионом именует,  
Сплетает про него стихи  
И производит в женихи (VI, 479).

Этот эпизод автобиографичен. В 1829 году Пушкин стал жертвой обидной сплетни – приятель его А. Полторацкий распустил слух, как писал Пушкин Вяземскому: «...что я шпион, получаю за то 2500 в месяц <?> (которые очень бы мне пригодились благодаря крепсу <речь идет о крупном проигрыше в карты. – Ю. Л.>) и ко мне уже являются трою(ро)дн(ые) братцы за местами <?> и за милостями <?> царскими <?>» (XIV, 266).

Общество фамусовых устало стыдиться себя, своего невежества, своей отсталости и с облегчением встретило освобождение от стыда – изъятие из его среды чацких. Количественно число повешенных и сосланных сравнительно с общим множеством

<sup>1</sup> Цит. по: Штайнберг А. А. Пушкин и Е. Д. Панова. – Временник Пушкинской комиссии, 1965. Л., 1968, с. 50.

дворян было ничтожным. Однако изъятие этого меньшинства лишило общество нравственной точки зрения на себя. Общественная безнравственность сделалась знамением эпохи. Наивно было бы видеть здесь лишь личное влияние Николая I. От проницательных современников не укрылось, что терявшее стыд общество столь же активно формировало своего императора, сколь он лепил общество по своему образу и подобию. Декабрист А. Поджио писал, обращаясь к дворянскому обществу: «Вы приняли скромного бригадного командира в свои объятия, возвели его на престол и своим низкопоклонством, потворствуя положенным, закравшимся уже дурным наклонностям, дали им развиться, упрочиться и дали возможность сделать из него того созданного вами Николая, который так долго тяготил над Россией, над вами самими. Николай был, повторю, вашим творением»<sup>1</sup>.

Было время, когда Пушкин был ссыльным скитальцем, который рвался в Петербург. Теперь его держат в Петербурге как на привязи, и он стремится вырваться из его душной атмосферы куда угодно: в Париж или Китай, на турецкий фронт или в деревню. Получив на все просьбы отказ, он 9 марта 1829 года выезжает из Петербурга в Москву, откуда в начале мая без разрешения отправляется на Кавказ с намерением посетить действующую армию. Кавказ привлекал Пушкина не только романтическими воспоминаниями – здесь он рассчитывал встретиться с друзьями юности и ссыльными декабристами. 26 мая Пушкин приехал в Тифлис, куда уже прибыло из столицы распоряжение о секретном надзоре за ним. В начале июня он в действующей армии, встречается с лицеистом Вальховским, Н. Н. Раевским-сыном, в палатке которого живет все это время, братом Пущина Михаилом, многими ссыльными декабристами. С А. Бестужевым он разъехался, а на одном из горных перевалов встретил гроб с телом убитого в Персии Грибоедова. Опасность и новые впечатления веселили Пушкина. Его видели с пикой в руках в передовой цепи атакую-

<sup>1</sup> Поджио А. В. Записки декабриста. М. – Л., 1930, с. 20.

щих казаков. Солдаты с недоумением смотрели на штатскую фигуру в цилиндре и, считая его священником, звали «батюшкой». Однако былой легкости не было: по воспоминаниям декабриста А. С. Ган-геблова, «во время пребывания в отряде Пушкин держал себя серьезно, избегал новых встреч и сходился только с прежними своими знакомыми, при посторонних же всегда был молчалив и казался задумчивым»<sup>1</sup>.

Неприятности с командующим Паскевичем, видимо, слишком тщательно выполнявшим поручение о надзоре за поэтом, вынудили Пушкина покинуть Кавказ. В Петербурге его ждали тягостные объяснения с Бенкендорфом по поводу самовольной поездки.

Краткий обзор обстоятельств жизни Пушкина второй половины 1820-х годов показывает, какой сложной, трагически противоречивой была она в эту пору. Какую из граней ее мы ни взяли бы: журнальные отношения или борьбу с цензурой, опасные политические расследования, доносы, выговоры Бенкендорфа или напряженные и запутанные обстоятельства личной жизни – любой из них хватило бы, чтобы с лихвой заполнить все время и все душевые силы человека. Поразительное свойство личности Пушкина состояло в том, что он все это вмещал в себя одновременно. И все это, даже поездка сломя голову, без разрешения съыше на Кавказ, чтобы «душу освежить,/ Бывалой жизнию пожить», даже быстро сменявшие одно другое в эти годы легкие или напряженно трагические увлечения женщинами, было лишь фоном жизни. В центре ее неизменно оставалась поэзия. Именно в эти трудные для него годы Пушкин почувствовал, что достиг творческой зрелости.

Шла работа над седьмой главой «Онегина», обдумывалось его продолжение, была написана «Полтава», много стихотворений, в творческом сознании поэта зрели драматические замыслы. Однако, пожалуй, самым важным был поворот к прозе. Летом 1827 года в Михайловском Пушкин начал исторический

<sup>1</sup> «Русский архив», 1886, № 12, с. 253.

роман из эпохи Петра I (в дальнейшем он стал публиковаться под не принадлежавшим Пушкину заглавием «Арап Петра Великого»). Роман не был закончен, и в 1829 году Пушкин приступил к другому произведению в прозе — роману из современной ему жизни («Роман в письмах»), одновременно работая еще над одним произведением, действие которого должно было развертываться в светском обществе той же эпохи («Гости съезжались на дачу...»).

Обращение Пушкина к прозе по-новому освещало и понятие житейской прозы, подымало будни обычной жизни на уровень высокой поэзии. Одновременно тот статут «поэта», который был утвержден романтической традицией и с которым неизбежно приходилось сталкиваться Пушкину ежедневно, обороняясь от пошлого любопытства окружающих, пытавшихся подчинить живого писателя меркам привычных литературных штампов, сделался для него нестерпимым.

Предметом став суждений шумных,  
Несносно (согласитесь в том)  
Между людей благоразумных  
Простыть притворным чудаком,  
Или печальным сумасбродом,  
Иль сатаническим уродом,  
Иль даже Демоном моим (VI, 170)

Б. Пастернак в стихотворении «Художник» писал:

Мне по душе строптивый норов  
Артиста в силе: он отвык  
От фраз и прячется от взоров.

Пушкин был «артистом в силе», и постоянное праздное любопытство его утомляло, «сужденья шумные» злили. Положение его в обществе напоминало то, о котором он писал Дельвигу из Малинников: «Соседи ездят смотреть на меня как на собаку Мунито (дрессированная собака. — Ю. Л.)». Далее он рассказывал о проделке П. М. Полторацкого (отца А. П. Керн), который уговорил детей проситься в гости потому, что «там будет Пушкин — он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут и всем вам будет по кусочку — дети разревелись: Не хотим черносливу, хотим Пушкина. Нечего делать — их повезли, и они сбежались ко

мне облизываясь — но увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили» (*XIV*, 34). Между тем поэзия требовала труда и времени, а поэт нуждался в общественном признании права быть не «печальным сумасбродом», а просто человеком.

Пушкин пытался для себя решить этот вопрос резким разграничением трех сфер: жизни профессионального литератора, журналиста, полемиста, жизни, требующей общения с литературной братией, книгопродающими, профессиональной среды; жизни поэта, его глубоко интимного творческого труда, требующего уединения и покоя, и жизни светского человека, общающегося с такими же, как он, светскими людьми и чуждающегося всякой профессиональной среды и профессиональных интересов. Пушкин не любил смешения этих сфер.

В повести «Египетские ночи» он писал: «Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делаах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии <...>.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братии литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничего не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было такого беспорядка, который обличает присутствие Музы

и отсутствие метлы и щетки (...) Однако же он был поэт и страсть его была неодолима: когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?» (*VIII*, 1, 263 – 264).

Чарский, конечно, не Пушкин, который давно уже перестал превращать своих героев в автопортреты. Пушкин поставил Чарского в свою ситуацию и дал ему возможность довести до крайнего предела тенденции своего поведения.

Однако разделение себя на разных людей не могло быть пушкинским идеалом – это был выход временный, переходный. По отношению к тому совершенному идеалу личности художника, который Пушкин упорно формировал в себе, это напоминало многочисленные в этот период незавершенные и оставленные наброски произведений. Переходное время не давало целостности. Замыслы не завершались, поведение не складывалось в единое целое. Тем остree была жажда законченности. Движение, начатое в Михайловском, нуждалось в остановке. 1830 год стал годом завершений: закончен был «Евгений Онегин», написаны задуманные еще в Михайловском маленькие трагедии, первые завершенные прозаические произведения – «Повести Белкина».

Не только поэзия, но и жизнь жаждала законченности – Пушкин задумал жениться.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "А.С. Пушкин".

# *Глава шестая*

## **тысяча восемьсот тридцатый год**



**У**

же по тому, какие последствия в трагическом романе пушкинской жизни повлекло за собой решение жениться, вопрос этот должен привлечь наше внимание. Пушкин легко увлекался. В 1828 году, варьируя тему Андре Шенье, он писал:

Каков я прежде был, таков и ныне я:  
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете,  
друзья,  
Могу ль на красоту взирать без  
умиления... (III, I, 143).

Однако, присматриваясь к фактам, мы видим, что решение жениться питалось более глубокими импульсами. Можно сказать, что в эти годы Пушкин собирался жениться не потому, что влюбился, а влюблялся потому, что собирался жениться. В 1826 году он сватался к С. Ф. Пушкиной, в 1828 году — к Аннете Олениной и настолько был уверен в будущей женитьбе, что примерял, как будет выглядеть сочетание «Аннета Пушкина». 1 мая 1829 года он просил руки Натальи Николаевны Гончаровой и получил неопределенный ответ. Однако в марте 1830 года Вяземский сообщал жене из Москвы, что Пушкин чуть ли не помолвлен с Екатериной Николаевной Ушаковой, двадцатилетней красавицей, которую сам поэт называл «прелестной». Наконец, 6 мая 1830 года состоялась помолвка Пушкина с Натальей Николаевной, и он официально сделался женихом. Подобно тому как, просматривая цепь торопливых вызовов на дуэль, предшествовавших роковой встрече на Черной речке, нельзя отрешиться от чувства, что перед нами черновые наброски

решительного замысла, так эти сватовства оставляют впечатление примерок, репетиций давно и твердо обдуманного торжественного акта. В смысл стоит вдуматься.

Известие о женитьбе Пушкина было встречено близкими ему людьми с удивлением и недоверием. При всем разнообразии мнений господствующий мотив был таков: Пушкин — поэтическая натура, а в браке заключается нечто прозаическое. Брак, и особенно счастливый брак, казался несовместимым с романтическим ореолом, который, по мнению даже близких Пушкину людей, он, как поэт, обречен был нести в жизни.

Елизавета Михайловна Хитрово — дочь фельдмаршала М. И. Кутузова, верный друг Пушкина, любившая его глубоко и искренне, — скрывая горечь и ревность, охватившие ее при известии о помолвке поэта, писала ему, используя общие места романтического представления о поэте: «Я боюсь за вас: меня страшит прозаическая сторона брака! [дорогой <?>] Кроме того, я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость, и развитию его способствует ряд несчастий, — что полное счастье, прочное, продолжительное и, в конце концов, немного однообразное, убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта! И может быть именно это — после личной боли — поразило меня больше всего в первый момент» (*XIV*, 91 и 410)<sup>1</sup>.

Пушкину был хорошо известен этот романтический штамп, и он имел смелость оспорить его и в стихах и в жизни. В июле 1830 года египтолог И. А. Гульяннов, узнав о помолвке Пушкина, послал ему поздравительное стихотворение. Поэт отозвался «Ответом анониму», в котором полемически объявил романтическую идею поэтичности страдания попшлостью и противопоставил ей право поэта на простое человеческое счастье:

Смешон, участия кто требует у света!  
Холодная толпа взирает на поэта,

<sup>1</sup> Для смеси романтических представлений и светского остроумия характерно «словечко» Е. Н. Ушаковой по поводу брака ее сестры: «Они счастливы до гадости».

Как на заезжего фигляра: если он  
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,  
И выстраданный стих, пронзительно-уныльй,  
Ударит по сердцам с неведомою силой,—  
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой  
Неблагосклонно кивает головой.  
Постигнет ли певца внезапное волненье,  
Утрома скорбная, изгнанье, заточенье,—  
«Тем лучше, — говорят любители искусств, —  
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств  
И нам их передаст». Но счастье поэта  
Меж ими не найдет сердечного привета (*III, 1, 229*).

С романтической точки зрения все обыкновенное пошло. Для Пушкина, называющего себя «поэтом действительности», пошли претензии на необычность — обычная же жизнь исполнена поэзии. Жить как все, жить счастливо — в этом, в простоте и прозе жизни — высокая поэзия. 10 февраля 1831 года Пушкин писал Н. И. Кривцову, сообщая ему о вступлении в брак: «До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes<sup>1</sup>. Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться» (*XIV, 151*).

Это было, конечно, не стремление «поступать как люди», чтобы стать одним из тех,

Кто в двадцать лет был франт иль хват,  
А в тридцать выгодно женат (*VI, 169*).

\*

«Обыденность» эта намного труднее романтической исключительности — в сфере каждого дня быта она выражала те же стремления, которые питали высокую простоту пушкинской поэзии 1830-х годов. Чтобы понять пушкинский идеал жизни и быта в эти годы, определивший в конечном счете и его решение жениться, необходимо коснуться ряда вопросов.

Положение Пушкина к концу 1820-х годов сделалось исключительно тяжелым. Отношение его с

<sup>1</sup> «Счастье существует лишь на проторенных путях (в обычной жизни)» — цитата из романа Шатобриана «Рене». Пушкин любил это высказывание и часто его цитировал.

властями было двусмысленным и ложным. В кабинете царя в 1826 году Пушкин определил для себя тактическую линию поведения с правительством, линию, которая обеспечивала ему сохранение собственного достоинства и которой он старался придерживаться все последующие годы. Линия эта состояла в предельной прямоте и откровенности в высказывании своих мыслей. Считая Николая I честным человеком, он полагал хитрости и лукавство ниже своего и его достоинства. Со своей стороны и царь сумел внушить поэту, что с ним ведут честную и открытую, хоть и не всегда приятную, игру. Однако в действительности все обстояло иначе: ни царь, ни Бенкендорф Пушкину не верили, видели в нем опасного и хитрого смутьяна, каждый шаг которого нуждается в надзоре. Обещанная ему свобода от цензуры<sup>1</sup> обернулась мелочной полицейской опекой Бенкендорфа. Свобода передвижения также оказалась мнимой: для любых отлучек из Петербурга надо было испрашивать разрешение. Пушкин оказался опутанным цепью слежки. Правительство использовало для наблюдения за ним и профессиональных литераторов типа Фаддея Булгарина, и полуграмотных агентов<sup>2</sup>.

Недоверие со стороны царя, придирки и выговоры Бенкендорфа, доносы тайных агентов и

<sup>1</sup> Поскольку сразу было очевидно, что цензуровать все мелкие стихотворения и статьи Пушкина царь не может, выражение «я буду твоим цензором» поэт понял как разрешение в важных случаях обращаться к царю, в остальных печатая под личную ответственность. Прецедент был: Александр I освободил «Историю государства Российского» Карамзина от цензуры.

<sup>2</sup> Образец доноса, написанного в начале 1828 года безымянным любителем этого жанра, приводит Б. Л. Модзалевский: «Пушкин! известный уже, сочинитель! который, не взирая на благосклонность государя! Много уже выпустил своих сочинений! как стихами, так и прозой!! колких для правительствуших даже, и к государю! Имеет знакомство с Жулковским!! у которого бывает почти ежедневно!!! К примеру вышесказанного, есть оного сочинение под названием Таня! которая быдто уже, и напечатана в Северной Пчеле!! Средство же, имеет к выпуску через благосклонность Жулковского!!» (Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором, 3-е изд. Л., 1925, с. 77.) Помощник Бенкендорфа фон Фок, считая, что донос, самый безграмотный и нелепый, приносит пользу, а стихотворение, самое хорошее, – вред, приобщил и этот «документ» к делу.

грубые нападки критики, все более переходившей от литературных обвинений к намекам на политическую неблагонадежность,— все это, постоянно накаляя атмосферу, создало к началу 1830 года обстановку исключительной остроты. Весьма сложными сделались отношения Пушкина с молодыми литераторами, получившими известность уже после 14 декабря.

После разгрома политической оппозиции общественная роль литературы неизмеримо возросла: она осталась, по существу, единственной областью, в которой находило себе выход быстро развивавшееся самосознание русского общества. Одновременно быстро росли число читателей и массовость распространения литературы, росла и денежная заинтересованность писателей в успехе их произведений.

Пушкин выиграл битву за профессиональную оплату писательского труда, и литераторы превратились в общепризнанное сословие, имеющее общественный статут, с которым вынуждено было считаться даже правительство. Однако этот, прогрессивный по существу, процесс имел и обратную сторону: атмосфера в литературе замутилась, в нее втирались беспринципные дельцы, прежде всего обеспокоенные денежными соображениями. Началась погоня за читателем, конкуренция в борьбе за место на складывающемся книжном рынке, игра в показной демократизм, сводившийся на деле к стремлению не подыматься выше вкуса массового покупателя. А поскольку в феодально-полицейском государстве лучший способ обеспечить коммерческие интересы — монополия (монополия же в этих условиях лучше всего обеспечивается поддержкой полиции), определенные группы литературных коммерсантов начали завязывать связи с тайной полицией, стремясь гарантировать себе нелитературную поддержку в литературной борьбе. Со своей стороны, система тайного надзора, активно создаваемая Бенкендорфом и его ведомством, нуждалась в агентах. Так начал складываться совершенно неслыханный дотоле в России союз продажных литераторов и тайной полиции. Людям, привыкшим к чистоте литературной атмосферы, созданной нравственным авторитетом Новикова, Радищева, Ка-

рамзина, Жуковского, русская словесность показалась опозоренной:

... хороводец  
Старушек муз уж не прельщает нас.  
И табор свой с классических вершинок  
Перенесли мы на толкучий рынок (*V*, 85).

В этот период быстро выдвинулась вперед прежде почти незаметная в русской литературе фигура Фаддея Венедиктовича Булгарина. Булгарин родился в 1789 году (следовательно, он был на десять лет старше Пушкина, но намного пережил его, благополучно дожив до семидесяти лет) в семье, глубоко пронизанной идеями польского национализма. Однако он был отдан в петербургский кадетский корпус, где, по собственному признанию, сделался ревнителем православия и настолько обруслел, что старался забыть польский язык. Выпущенный из корпуса корнетом, он служил в уланском, потом в пехотных полках, участвовал в походах, но заслужил весьма плохую характеристику в кондуктных списках. Выйдя в отставку в 1811 году, он перебежал на сторону наполеоновской армии и принял участие в походах в Испанию и Россию. После поражения Наполеона он снова появился в Петербурге и занялся журналистикой. Обладая качествами неплохого журналиста и критика, легкостью пера и умением завязывать нужные знакомства, он быстро сошелся с прогрессивными литераторами и завязал приятельские отношения с Грибоедовым, Рылеевым, А. Бестужевым и др. Правда, беспринципность Булгарина уже тогда вызывала столкновения между ним и его либеральными друзьями. Грибоедов после бесактно льстивого отзыва о нем в статье Булгарина счел себя вынужденным порвать отношения и писал Булгарину в октябре 1824 года: «Мы друг друга более не знаем (...) Конечно, и вас чувство благородной гордости не допустит опять сойтись с человеком, который от вас отказывается»<sup>1</sup>. Рылеев полушутя грозил Булгарину тем, что после революции декабристы ему голову отрубят на листе «Северной пчелы» (газеты Булгарина). А однажды у них уже

<sup>1</sup> Грибоедов А. С. Соч. 1956, с. 574.

без шуток дело чуть не дошло до дуэли. Приблизительно в то же время Булгарин уклонился от поединка с Дельвигом, отдавшись шуткой. Вопреки мнению Грибоедова, в Булгарине не было «благородной гордости», и он быстро налаживал пошатнувшиеся было литературные связи: уже через полгода Грибоедов называл его в письмах «любезнейший друг» и «мой любезны́й», отношения с Рылеевым стали даже походить на дружбу – ожидая после разгрома восстания ареста, Рылеев передал Булгарину свой архив. После 14 декабря Булгарин имел все основания опасаться за себя, и именно в этот момент, не в первый раз в своей жизни, он сменил знамена.

Правительство, нащупывая контакты с литераторами, обратилось в 1826 году к ним с поручением высказаться об организации просвещения в России. Предлог был избран сознательно нейтральный: важны были не мысли того или иного писателя об образовании – важно было выяснить, кто готов сотрудничать с правительством и на какой основе. Мы уже говорили о том, в какое затруднение поставило такое поручение Пушкина и сколь неудовлетворительно, с точки зрения Николая I и Бенкendorфа, он его выполнил.

Булгарин быстро сориентировался: он подал записку «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного» – обдуманный и ядовитый политический донос. «Молодой вертопрах должен при сем порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском – знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах; казаться неверующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и русским патриотом. К тому же принадлежит также обязанность насмехаться над выправкою и обучением войск, и для сей цели выдумано ими слово шагистика. Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное

молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществах. Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец и либерал — почетные названия»<sup>1</sup>. Поскольку Кюхельбекер и Пущин были уже осуждены, а такие лицеисты, как Корф или Горчаков, находились вне подозрений, донос метил в Дельвига и Пушкина: Булгарин знал, что Бенкendorf не расположен к Пушкину, и подыгрывал новому хозяину. Правда, подавая тайные доносы, Булгарин поддерживал вполне корректные внешние отношения с Пушкиным: неумеренно хвалил его в печатных отзывах, а повесть свою «Эстерка» выпустил в свет с пометой: «Посвящено поэту А. С. Пушкину». Даже и в тайных доносах, зная о милостивом разговоре Николая I с Пушкиным и опасаясь симпатий к поэту в кругах бывших «карзамасцев», которые в эти годы пошли в гору, Булгарин, до поры, не решался прямо нападать на Пушкина, ограничиваясь доносами на его друзей и ядовитыми намеками.

Бенкendorf был полностью удовлетворен «понятливостью» своего нового сотрудника и оказал Булгарину энергичную протекцию. В записке о «Похвальных литературных трудах Ф. В. Булгарина», составленной для Бенкendorфа, вероятно, самим Булгариным, говорилось, что «Булгарин почел бы себя счастливым, если б мог получить статский чин, несколько сообразный с его летами, и избавиться от звания французского капитана» (Булгарин все официальные бумаги, не имея русского чина, вынужден был подписывать: «бывший французской службы капитан»). В этой же записке Булгарин изображался (изображал себя?) жертвой декабристов, донося задним числом на своего казненного приятеля: «Что Булгарин вытерпел за свой образ мыслей от партии, некогда сильной в обществе, которой пагубные замыслы открылись впоследствии, сие известно всем, составлявшим круг их знакомства. Булгарина даже страшали публично, что со временем ему отрубят голову на «Северной Пчеле» за рас-

<sup>1</sup> Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором, изд. 3-е. Л., 1925, с. 36.

пространение не-европейских (так они называли) идей. Но Булгарин всегда пребыл тверд в своих правилах и, видя какое-то своеование мыслей между юношеством и некоторыми умниками, не постигая тайной причины, всегда старался противодействовать их влиянию на общее мнение»<sup>1</sup>.

По протекции Бенкендорфа, во внимание к «похвальным трудам бывшего капитана французской армии Булгарина», последний был причислен к министерству просвещения. Соглашение с другим влиятельным журналистом, Н. И. Гречем (также близким к декабристам до 1825 года и проделавшим аналогичную Булгарину эволюцию после разгрома восстания), обеспечило блоку Булгарина – Грече монопольное положение в русской журналистике и литературе: в их руках оказалась самая популярная в России газета «Северная Пчела» (выходила три раза в неделю, а с 1831 года – ежедневно), влиятельный журнал «Сын отечества» (два раза, а с 1829 года четыре раза в месяц), журнал «Северный архив», позднее слившийся с «Сыном отечества». К этому следует добавить, что Булгарин был опытен в само-рекламе и действительно умел потрафлять неразборчивым вкусам: его романы пользовались широким читательским успехом, и по количеству читателей он вышел к началу 1830-х годов на одно из первых мест в русской литературе, оставив позади Пушкина.

В 1829 году Пушкину и его друзьям стало известно о деятельности Булгарина как тайного осведомителя. Одновременно Булгарин разоблачил себя сам: трагедия Пушкина «Борис Годунов» находилась в руках царя, от которого зависело, увидит ли она печать. Николай I отдал ее на просмотр анонимному референту, советы которого были потом облечены в форму высочайшего заключения: предлагалось переделать пьесу в роман «наподобие Вальтер Скотта». Пушкин от переделок отказался, и трагедия, таким образом, оказалась под запретом. Однако Булгарин сам решил воспользоваться соб-

<sup>1</sup> Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. 2. СПб., 1889, с. 277 – 278.

ственным (референтом, видимо, был он же) советом, и в 1829 году появился его исторический роман «Дмитрий Самозванец». Пушкин не без оснований заподозрил знакомство Булгарина с текстом своей трагедии, что служило очевидным доказательством булгаринских связей с Бенкендорфом. Разоблачение тайного лица Булгарина и предание общественному суду его темных услуг III отделению Пушкин считал своим долгом.

Борьба Пушкина, Дельвига, Вяземского и близких к ним литераторов приобрела особую остроту, когда в 1830 году начала выходить «Литературная газета». Литераторы пушкинского круга находились после прекращения декабристских изданий в своеобразной блокаде: им негде было печататься. Альманах Дельвига «Северные цветы» — небольшая книжечка, выходившая раз в год, — не мог заменить оперативного литературного журнала. Отношения Пушкина с «Московским вестником» разладились. То же произошло у Вяземского с «Московским телеграфом».

В этих условиях и возникла «Литературная газета», редактором которой был А. А. Дельвиг, а ближайшими участниками — Пушкин, Вяземский и второстепенный, но не лишенный таланта литератор Орест Сомов. Целью издания была не пропаганда какой-либо художественной доктрины или общественно-политической концепции (в этих вопросах между руководящими сотрудниками не было полного единства, да и цензурные условия, в которых осуществлялось издание, исключали активность по проблемам такого рода). «Литературная газета» ставила своей целью борьбу за литературную нравственность. В 1820-х годах Пушкин считал, что без профессионализации нет литературы. Он боролся за юридическое положение писателя, неприкосновенность литературной собственности, законодательную защиту писательского труда, обуздание цензурных бесчинств. Теперь он счел себя обязанным вступиться за чистоту литературных нравов и нравственной атмосферы литературы. Прежде он, полемически заостряя свою мысль, охотно сравнивал поэта с ремесленником, работающим за плату, и требовал для них одинаковых прав на компенсацию

труда. Теперь он делает акцент на первой части двуединой формулы:

Не продается вдохновенье,  
Но можно рукопись продать (*II, 1, 330*).

Естественно, что газета, ориентированная на чисто литературные проблемы, не могла быть обращена к массовому читателю (даже в том ограниченном значении, в котором это понятие применимо к литературе тех лет). Конкурентом булгаринским изданиям «Литературная газета» быть не могла. И все же Булгарин встревожился. А когда дело касалось его материальных интересов, он отбрасывал все нормы литературных и человеческих приличий. Со своей стороны, и пушкинская группа была настроена непримиримо. Война сделалась неизбежной.

Положение усложнялось тем, что Булгарин не был единственным противником пушкинской группы в литературе. Глубокие общественные перемены, произошедшие во второй половине 1820-х годов, отразились и в этой области. Новый, более массовый и значительно более демократический читатель не удовлетворялся тем обликом литературы, который сложился в начале XIX века. Такая литература казалась ему кастово дворянской, была эстетически неприемлема и возбуждала чувство социальной неприязни. В Пушкине видели главу этого — уже, казалось, прошедшего — периода литературы. Настроения такого, еще незрелого читателя наиболее ярко выражали два противоположных в своих воззрениях журналиста: Н. А. Полевой и Н. И. Надеждин.

Николай Алексеевич Полевой — энергичный, талантливый самоучка из купцов — сумел в короткий срок сделаться заметным литератором. Вместе со своим братом Ксенофонтом он руководил журналом «Московский телеграф», который стал одним из самых популярных русских изданий. По своим литературным убеждениям Полевой был романтиком. Политические его взгляды связаны были с декабристской традицией свободолюбия, однако испытывали сильное влияние идей, распространенных во французской буржуазно-демократической публи-

цистике 1820-х годов. Полевой умел обходить цензуру, статьи его были смелы и задорны, будили читательскую мысль, однако отличались теоретическим эклектизмом и сумбурностью стиля. В конце 1820-х годов Полевой начал поход против признанных авторитетов дворянской культуры: Державина, Карамзина, Пушкина. Несмотря на то что бунт этот имел чисто литературный характер, в условиях последекабрьского цензурного режима, в обстановке всеобщей запуганности он звучал чуть ли не набатом и действительно имел значение, выходящее за пределы литературы.

Николай Иванович Надеждин – профессор Московского университета, из семинаристов, образованный филолог и талантливый полемист – был, как и Полевой, решительным врагом дворянской литературы и дворянских привилегий. Монархист по убеждениям, он создал утопический идеал демократического самодержавия, опирающегося на просвещение народа. Он был решительным врагом романтизма, в котором видел барское пренебрежение к народности, барское нежелание принять жизнь. Романтический бунт, романтическая революционность представлялись ему барской прихотью, «площадным подвижничеством русского барича». Романтическое богоборчество казалось ему цинизмом полупросвещенного дворянина, а романтический субъективизм – дешевым эгоизмом и равнодушием к судьбе народа. Вместо романтической литературы, которую он считал (как и всю «барскую» культуру) чуждой подлинно русской национальной традиции и наносной, Надеждин хотел бы видеть поэзию народной, связанной с глубинами русской жизни. Правда, положительная программа его отличалась неопределенностью и терялась за острыми и злыми критическими выпадами. Отношение Надеждина к декабристской романтической революционности (хотя вопрос этот не мог печатно обсуждаться по цензурным условиям: ругать декабристов в печати было так же запрещено, как и хвалить, – их просто «не было») было отрицательным. В Пушкине Надеждин видел блестящего главу дворянской литературы и повел с ним решительную борьбу.

Создалось парадоксальное положение. Полевой нападал на Пушкина, намекая на его «измену» свободолюбивым идеалам и декабристской традиции: видя в Пушкине-романтике утраченный идеал, он осуждал в Пушкине романтика-дезертира, покинувшего благородные знамена романтического бунтарства ради ничтожных картин ничтожной действительности. Надеждин же видел в Пушкине главу русского романтизма и в острых (а порой и политически бес tactных) статьях обвинял его в бунтарстве, верности барскому либерализму (против воли Надеждина такое обвинение под внимательным взором Бенкendorфа объективно превращалось в печатный донос). Для Полевого бытовая, пронизанная иронией поэма «Граф Нулин» была изменой могучему романтизму; Надеждин же заклеймил ее в «Вестнике Европы» как крайнее проявление романтического «цинизма», «нигилистического изящества» (Надеждин впервые употребил здесь в русском языке слово «нигилизм»).

В разнородном лагере противников Пушкина и пушкинского окружения, в напряженной полемике, развернувшейся в 1830 году вокруг «Литературной газеты», выработана была единая для всех нападавших «формула обвинения»: Пушкина и «Литературную газету» в целом обвиняли в «литературном аристократизме». Правда, понимался этот упрек по-разному: Полевой видел в «аристократизме» антидемократизм и отказ от общественной активности, Надеждин связывал романтическое избранничество с бунтарством и «аристократизм» считал синонимом критицизма и постоянного недовольства действительностью.

Пушкин ушел настолько далеко вперед от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них отстал. Он не мог уже быть «властителем дум» молодого поколения, ибо видел бесконечно дальше, чем оно,— его стали обвинять в консерватизме и отсталости.

Ядовитее всего были стрелы Булгарина: обвиняя Пушкина в литературном аристократизме, он обращался сразу к двум адресатам: демагогически — к читателю, стремясь подорвать популярность поэта

в кругах демократической молодежи, и доносительно – к правительству. Николай I гораздо меньше боялся народного бунта, чем дворянского заговора. Ему все еще казалось, что его зычный, хорошо поставленный голос дивизионного командира, командующий: «На колени!» – усмирит любое народное волнение. Зато «мои друзья 14 декабря», как он именовал декабристов, были его кошмаром до конца дней. Любая тень дворянской оппозиционности пугала его и преследовалась нещадно. Булгарин хорошо понимал это, когда представлял «Литературную газету» гнездом аристократического заговора. Именно такой ядовитый смысл имел, например, пасквиль, опубликованный Булгариным в «Северной Пчеле» от 11 марта 1830 года. Здесь Пушкин был изображен под видом некоего французского поэта, который «бросает рифмами во все священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитьй кафтан; который марает белые листы на продажу, чтоб спустить деньги на крапленных листах, и у которого одно господствующее чувство – суетность».

Пушкин не мог отмалчиваться, хотя его литературный предшественник Карамзин взял себе за правило не мараться литературной грязью и никогда не отвечать даже на самые обидные выпады своих противников. Пушкин прекрасно понимал, что будущее русской литературы непосредственно зависит от усилий его и его друзей. И если мы можем утверждать, что на всем протяжении существования русской литературы ей была свойственна атмосфера нравственной чистоты, если само имя Булгарина сделалось нарицательным и оскорбительным, а путь сотрудничества с бенкендорфами – навсегда дискредитированным и невозможным для любого порядочного русского писателя, каковы бы ни были его взгляды и к какому бы направлению он ни принадлежал, если литература сохранила в обществе свой нравственный авторитет, а читатель XIX века смотрел на писателя как на свою совесть, то в этом – бесспорная историческая заслуга Пушкина, в этом – значение его эпиграмм и полемических статей 1830–1831 годов. На общем фоне наследия Пушкина эти

произведения кажутся «мелочами», и читатель, хорошо знакомый с поэмами и повестями автора «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы», оставляет его критические статьи специалистам. Между тем это не только блестящие произведения Пушкина-художника, но и «подвиг честного человека»<sup>1</sup>, одна из великих заслуг Пушкина перед историей русской культуры. Пушкин разоблачил полицейскую деятельность Булгарина сначала пущенной по рукам эпиграммой, где издатель «Северной пчелы» был назван «Видок-Фиглярин» (Видок – французский сыщик, преступник и дезертир, начальник тайной парижской полиции, «Мемуары» которого пользовались скандальной популярностью). Затем в «Литературной газете» Пушкин опубликовал без подписи рецензию на «Мемуары» Видока, где дал убийственный портрет Булгарина, демаскировав его как тайного агента полиции: «Кто бы мог поверить? Видок честолюбив! Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве, и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений» (*XI*, 129).

Обвинение в «литературном аристократизме» также нуждалось в отражении, тем более, что противники «Литературной газеты» неоднократно кололи глаз редакции тем, что Вяземский – князь, Дельвиг – барон, а Пушкин любил напоминать о своем 600-летнем дворянстве. Вяземский так разъяснил позицию «Литературной газеты» в письме дружественному литератору Максимовичу: «Охота Вам держаться терминологии вралей и вслед за ними твердить о литературной аристократии, об аристократии Газеты? Хорошо полицейским и кабацким литераторам (Булгарину и Полевому – разумеется, имею здесь в виду не торговлю Полевого<sup>2</sup>, хотя он торговал бы и церковными свечами, то все по слогу, по наглости,

---

<sup>1</sup> Слова Пушкина о Карамзине.

<sup>2</sup> Братья Полевые, принадлежа к купеческому сословию, владели водочным заводом, что подавало их литературным врагам повод для насмешек.

по буйству своему был бы он кабацким литератором) горланить против аристократии, ибо они чувствуют, что людям благовоспитанным и порядочным нельзя знать с ними, но Вам с какой стати приставать к их шайке? Брать ли слово аристократия в смысле дворянства, то кто же из нас не дворянин и почему Пушкин чиновнее Гречи или Свинарина? Брать ли его в смысле не дворянства, а благородства, духа вежливости, образованности, то как же решиться от него отсторониться и употреблять его в виде бранного слова, вслед за санкюлотами французской революции, ибо они составили сей словарь, или дали сие значение? Брать ли его в смысле аристократии талантов, то есть аристократии природной, то смешно же вымещать богу за то, что он дал Пушкину голову, а Полевому лоб<sup>1</sup> и Булгарины язык, чтобы полиция могла достать языка»<sup>2</sup>.

Однако Пушкин не совсем был согласен с такой позицией и не сводил дело к недобросовестному обвинению: именно в это время он (отчасти из полемических соображений) настойчиво подчеркивает древность своего рода (стихотворение «Моя родословная», неоконченная поэма «Езерский»). Позиция Пушкина в этом вопросе нуждается в объяснении.

В годы, последовавшие за декабрьским восстанием, Пушкин настойчиво размышляет над проблемами истории. Романтической вере в героев, которые своими великими деяниями определяют ход истории, увлекая за собой пассивную «толпу», он противопоставляет взгляд на историю как на закономерный процесс, железные звенья которого с неуклонной необходимостью следуют друг за другом.

Однако взгляды Пушкина на историю эволюционировали, и в них все резче выявлялась глубокая гуманистическая сущность. В истории Пушкиным стала подчеркиваться не только объективность лежащих в основе ее процессов но и смысл ее как

<sup>1</sup> «Лоб» (или «медный лоб» – на языке той поры знак бесстыдства).

<sup>2</sup> Цит. по: Гиппиус В. В. Пушкин в борьбе с Булгариным в 1830–31 гг. – Временник пушкинской комиссии. М.–Л., 1941, VI, с. 245–246. П. Свинарин – незначительный литератор той поры.

накопления культурных ценностей, ведущего к обогащению и освобождению человеческой личности. Память о своем прошедшем составляет одно из богатств народа – его культуру – и достояние каждого человека – основу его уважения к себе. Легкомысленное забвение культурных усилий предшествующих поколений, культурный нигилизм делаются одним из основных объектов пушкинского осуждения. История – память народа. В неоконченном пушкинском «Романе в письмах» (конец 1829 года) герой, явно близкий к авторской точке зрения, писал другу: «Я без прискорбия никогда не мог видеть уничижения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: Гр~~ажданину~~ Ми~~нину~~ и кн.~~язю~~ Пожарскому. Какой К.~~нязь~~ П.~~ожарский~~? Что такое гр~~ажданин~~ Ми~~нин~~? Был Окольничий кн~~язь~~ Дм.~~итрий~~ Михайлович Пожарский и мещ~~анин~~ Козь~~ма~~ Минич Сухор~~укой~~, выборный чело~~век~~ от всего Г~~осударства~~. Но отчество забыло даже настоящие имена своих избавителей. Прошедшее для нас не сущ~~ествует~~. Жалкой народ!» (VIII, 1, 53). Эти горькие слова Пушкин вложил в уста героя неаристократического происхождения, что должно подчеркнуть, что речь идет не о сословных привилегиях, а о культурном наследии народа.

Уважение к прошлому тесно связано с самосознанием отдельной человеческой личности, ощущающей свою принадлежность целому – единству национальной жизни. Уважение к себе воспитывает свободолюбие. Поэтому Пушкин считал русское дворянство (не как замкнутую касту, а как культурную силу) могучим источником общественного прогресса и даже резервом революционного движения.

У пушкинского отношения к истории была еще одна существенная черта: история воспринималась им не как абстракция, не в качестве отвлеченной идеи, а как живая связь живых людей, нить от деда к отцу, а затем к сыну и его потомкам – связь людей, живущих в одних и тех же родных

местах, вырастающих и умирающих в одном доме и находящих последнее успокоение на одном и том же кладбище. К 1830 году относится одно из самых глубоких (хотя так и оставшееся недоработанным) стихотворений Пушкина. Здесь связываются воедино два чувства — любовь к родному дому и любовь к месту, где покоятся предки:

Два чувства дивно близки нам —  
В них обретает сердце пищу —  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!  
Земля была *б* без них мертвa,  
Как пустыня  
И как алтарь без божества (*III, 1, 242*).

В ранних вариантах стихотворения эти чувства расшифрованы как связь гордости предками, любви к ушедшим поколениям («... к мертвым прадедам любовь») и чувства собственного достоинства:

На них основано от века  
По воле бога самого  
Самостоянье человека  
Залог величия его (*III, 2, 849*).

История проходит через Дом человека, через его частную жизнь. Не титулы, ордена или царская милость, а «самостоянье человека» превращает его в историческую личность. Чувство собственного достоинства, душевное богатство, связь с исторической жизнью народа делают его Человеком, достойным войти в Историю. Поэтому Дом, родное гнездо получает для Пушкина особенно глубокий смысл. Это святилище человеческого достоинства и звено в цепи исторической жизни. Это крепость и опора в борьбе с булгариными, это то, что недоступно (как думает Пушкин) ни царю, ни Бенкendorфу, — место, где человек встречается с любовью, трудом и историей.

В 1829 году Пушкин работал над стихотворением — гимном родному Дому (то, что это перевод «Гимна Пенатам» английского поэта Соути, не отменяет важности для Пушкина этой темы: он никогда не переводил «так просто», выбирал лишь важные

для него тексты мировой поэзии). Домашние божества (римск. Пенаты) объявляются верховной святыней и основой всего мироздания:

... божества всевышние, всему  
Причина вы, по мнению мудрецов,  
И следует торжественно за вами  
Великий Зевс с супругой белоглавой  
И мудрая богиня, дева силы,  
Афинская Паллада, – вам хвала.  
Примите гимн, таинственные силы!

Однако, управляя вселенной (даже верховный бог Зевс лишь «следует торжественно» за ними!), божества родного Дома совершают и другое, не менее важное дело – внушают человеку «самостоянье», уважение к себе самому:

И нас они науке первой учат –  
*Чтить самого себя* (III, 1, 192–193, курс. Пушкина).

Решение Пушкина жениться, завести свой дом было продиктовано многими, весьма различными соображениями: на первом месте – любовь, страстное увлечение, жажды обладания любимым существом и надежда на счастье. Играли роль и житейские соображения: усталость от холостой беспорядочной жизни, потребность углубленного, спокойного труда, который сулил упорядоченный семейный быт. Но решение это связывалось и с глубокими общественными и историческими размышлениеми Пушкина, поисками независимого и достойного существования – Дома. Здесь смыкалась тоска по тому, чего он был лишен с детства, – теплу родного гнезда, и глубокие теоретические размышления, убеждавшие его, что только человек, имеющий свой Дом, «крепок родной земле», истории и народу.

В конце 1828 или самом начале 1829 года Пушкин познакомился на балах у танцмейстера Иогеля, куда вывозили только самых молодых барышень (см. описание такого бала в «Войне и мире» Л. Н. Толстого), с красавицей Натальей Николаевной Гончаровой, которой в эту пору едва минуло шестнадцать лет. 1 мая он просил ее руки, но получил неопределенный ответ и уехал на Кавказ. В марте 1830 года, в самый разгар журнальной войны с Бул-

гариным и братией, Пушкин бросил все и поскакал в Москву. Здесь он 12 марта в зале Благородного собрания (нынешний Дом Союзов) на концерте, на котором присутствовал Николай I, снова встретил Наталью Николаевну. 5 апреля он обратился к матери Натальи Николаевны с решительным письмом. На другой день (это было то самое 6 апреля, когда в Петербурге вышел номер «Литературной газеты» со статьей о Видоке-Булгарине) он посетил Гончаровых и сделал вторичное предложение, которое на этот раз было принято. Однако сразу же обнаружились трудности. Одни из них были связаны с тем, что родители невесты высказывали опасения относительно политической репутации жениха. Пушкин помнил, что именно такие соображения привели уже к расстройству его помолвки с Олениной, и хотя, вероятно, это было ему чрезвычайно неприятно, обратился с письмом к Бенкендорфу, в котором сообщал о своем намерении жениться и просил удостоверить свою благонадежность в глазах правительства. В конце апреля он получил письмо шефа жандармов, в котором Пушкин извещался, что государь принял с «благосклонным удовлетворением» сообщение о предстоящей женитьбе Пушкина. Что же касалось отношения к Пушкину правительства, то Бенкендорф писал: «Никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за Вами надзор (это была ложь. — Ю. Л.). Советы, которые я, как друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы в этом будете всё более и более убеждаться. Какая же тень падает на Вас в этом отношении? Я уполномачиваю Вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому вы найдете нужным» (*XIV*, 81—82 и 408—409). Это было разрешение, и 6 мая состоялась помолвка. Пушкин стал официально женихом Натальи Николаевны Гончаровой.

Но остались трудности другого рода — денежные. Свадьба и семейная жизнь требовали расходов, а финансовые дела родителей невесты были расстроены, пушкинские родители также были в долгах. С большим трудом отец выделил Пушкину небольшую

деревеньку Кистеневку с 200 душами крестьян, расположенную в Нижегородской губернии, вблизи от отцовского имения Болдино.

В денежных хлопотах ушло лето. В августе Пушкин вновь приехал в Москву, где посетил умирающего дядю Василия Львовича. Настроение было тяжелое: он рассорился с будущей тещей и в раздражении написал невесте письмо, в котором возвращал ей слово. Надо было ехать в деревню, а Пушкин и сам не знал, жених он еще или нет. В частные переживания ворвались исторические: в Париже началась революция, в Москве – холера. 31 августа в смутном настроении он выехал из Москвы в Болдино. Приближалась осень – пушкинская «пора стихов».

A handwritten signature in black ink, appearing to read "А.С.Пушкин".



## Глава седьмая

### БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

# В

ыехав из Москвы 31 августа, Пушкин 3 сентября приехал в Болдино. Он рассчитывал за месяц управляться с делами по введению во владение выделенной отцом деревней, заложить ее<sup>1</sup> и вернуться в Москву, чтобы справить свадьбу. Ему было немного досадно, что за этими хлопотами пропадет

осень — лучшее для него рабочее время: «Осень подходит. Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает — а я должен хлопотать о приданом (у невесты! приданого не было. Пушкин хотел венчаться без приданого, но тщеславная мать Натальи Николаевны не могла этого допустить, и Пушкину пришлось самому доставать деньги на приданое, которое он, якобы, получал за невестой. — Ю. Л.), да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, бог весть, буду ли там иметь время заниматься, и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Качановского» (XIV, 110).

Пушкин был атлетически сложен, хотя и невысок ростом, физически крепок и вынослив, обладал силой, ловкостью и крепким здоровьем. Он любил движение, езду верхом, шумную народную толпу, многолюдное блестящее общество. Но любил он и полное уединение, тишину, отсутствие докучных

<sup>1</sup> Введение во владение — производившаяся через местную судебную палату канцелярская операция, которая оформляет передачу поместья новому владельцу; заклад — финансовая операция, при которой банк выдавал помещику под залог ревизских душ сумму денег, в дальнейшем подлежащую погашению.

посетителей. Весной и в летнюю жару его томили излишнее возбуждение или вялость. По привычкам и физическому складу он был человеком севера — любил холод, осенние свежие погоды, зимние морозы. Осенью он чувствовал прилив бодрости. Дождь и слякоть его не пугали: они не мешали прогулкам верхом — единственному развлечению в это рабочее время — и поддерживали горячку поэтического труда. «Осень чудная, — писал он Плетневу, — и дождь, и снег, и по колено грязь» (*XIV*, 118). Перспектива потерять для творчества это заветное время настраивала его раздражительно. Дело было не только в том, что тяжелый 1830 год сказывался утомлением: петербургская жизнь с суетой литературных схваток отнимала силы и не оставляла времени для работы над творческими замыслами — а их накопилось много, они заполняли и голову, и черновые тетради поэта. Он чувствовал себя «картистом в силе», на вершине творческой полноты и зрелости, а «времени» заниматься и «душевного спокойствия, без которого ничего не произведешь», не хватало. Кроме того, осенний «урожай» стихов был основным источником существования на весь год. Издатель и друг Пушкина Плетнев, следивший за материальной стороной пушкинских изданий, постоянно и настойчиво ему об этом напоминал. Деньги были нужны. С ними была связана независимость — возможность жить без службы — и счастье — возможность семейной жизни. Пушкин из Болдина писал с шутливой ironией Плетневу: «Что делает Дельвиг, видишь ли ты его. Скажи ему, пожалуйста, чтоб он мне припас денег; деньгами нечего щутить; деньги вещь важная — спроси у Канкрина (министр финансов. — Ю. Л.) и Булгарина» (*XIV*, 112). Работать было необходимо, работать очень хотелось, но обстоятельства складывались так, что, по всей видимости, работа не должна была удастся.

Пушкин приехал в Болдино в подавленном настроении. Не случайно первыми стихотворениями этой осени были одно из самых тревожных и напряженных стихотворений Пушкина «Бесы» и отдающая глубокой усталостью, в которой даже надежда на будущее счастье окрашена в меланхолические тона,

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»). Однако настроение скоро изменилось; все складывалось к лучшему: пришло «прелестное» письмо от невесты, которое «вполне успокоило»: Наталья Николаевна соглашалась идти замуж и без приданого (письмо, видимо, было нежным — оно до нас не дошло), канцелярская канитель была полностью передоверена писарю Петру Кирееву, но покинуть Болдино оказалось невозможным: «Около меня Колера Морбус *(cholera morbus* — медицинское наименование холеры. — Ю. Л.). Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает» (в письме невесте он называл холеру более нежно, в соответствии с общим тоном письма: «Премиленья особа», XIV, 111 и 112). Однако холера мало тревожила Пушкина — напротив, она сулила длительное пребывание в деревне. 9 сентября он осторожно пишет невесте, что задержится дней на двадцать, но в тот же день Плетневу, — что приедет в Москву «не прежде месяца». И с каждым днем, поскольку эпидемия вокруг усиливается, срок отъезда все более отодвигается, следовательно, увеличивается время для поэтического труда. Он твердо верит, что Гончаровы не остались в холерной Москве и находятся в безопасности в деревне, — причин для беспокойства нет, торопиться ехать незачем. Только что оглядевшись в Болдине, 9 сентября он пишет Плетневу: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хочь. А невеста пуше цензора Щеглова, язык и руки связывает (...) Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, [сиди <?>] пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов» (XIV, 112).

В болдинском уединении есть еще одно для Пушкина очарование; оно совсем не мирное: рядом таится смерть, кругом ходит холера. Чувство опасности электризует, веселит и дразнит, как двойная угроза (чумы и войны) веселила и возбуждала

Пушкина в его недавней – всего два года назад – поездке под Арзрум в действующую армию. Пушкин любил опасность и риск. Присутствие их его волновало и будило творческие силы. Холера настраивает на озорство: «Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подарка» (XIV, 113), – писал он Плетневу. Содержание этой проповеди сохранилось в мемуарной литературе. Нижегородская губернаторша А. П. Бутурлина спрашивала Пушкина о его пребывании в Болдине: «Что же вы делали в деревне, Александр Сергеич? Скучали?» – «Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил проповеди». – «Проповеди?» – «Да, в церкви, с амвона. По слухам холеры. Увещевал их. – И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будет продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!»

Однако возбуждала не только опасность болезни и смерти. И слова, написанные тут же в Болдине:

Всё, всё, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья,

хотя и касаются непосредственно «дуновения Чумы», упоминают также «упоение в бою, / И бездны мрачной на краю».

После подавления европейских революций 1820-х годов и разгрома декабристского восстания в Петербурге над Европой нависла неподвижная свинцовая туча реакции. История, казалось, остановилась. Летом 1830 года эта тишина сменилась лихорадочными событиями.

Атмосфера в Париже неуклонно накалялась с того момента, как в августе 1829 года король Карл X призвал к власти фанатического ультрапоялиста графа Полиньяка. Даже умеренная палата депутатов, существовавшая во Франции на основании хартии, которая была утверждена союзниками по антинаполеоновской коалиции и возвращала власть Бурбонам, вступила в конфликт с правительством. Пушкин, находясь в Петербурге, с напряженным вниманием следил за этими событиями. Распространение фран-

цузских газет в России было запрещено, но Пушкин получал их через свою приятельницу Е. М. Хитрово, а также черпал информацию из дипломатических каналов, от мужа дочери последней — австрийского посла графа Фикельмона. Осведомленность и политическое чутье Пушкина были настолько велики, что позволяли ему с большой точностью предсказывать ход политических событий. Так, 2 мая 1830 года он, обсуждая в письме к Вяземскому планы издания в России политической газеты, приводил примеры будущих известий о том, «что в Мексике было землетрясение, и что Камера депутатов закрыта до сентября» (*XIV*, 87). Действительно, 16 мая Карл X распустил палату.

26 июля король и Полиньяк совершили государственный переворот, отменив конституцию. Были опубликованы 6 ордонансов, уничтожены все конституционные гарантии, избирательный закон изменен в более реакционную сторону, а созыв новой палаты назначался, как и предсказывал Пушкин, на сентябрь. Париж ответил на это баррикадами. К 29 июля революция в столице Франции победила, Полиньяк и другие министры были арестованы, король бежал.

Пушкин отправился в Москву 10 августа 1830 года в одной карете с П. Вяземским, а приехав, поселился в его доме. В это время у них произошел характерный спор на бутылку шампанского: Пушкин считал, что Полиньяк попыткой переворота совершил акт государственной измены и должен быть приговорен к смертной казни, Вяземский утверждал, что этого делать «не должно и не можно» по юридическим и моральным соображениям. Пушкин уехал в деревню, так и не зная окончания дела (Полиньяк был в конце концов приговорен к тюремному заключению), и 29 сентября запрашивал из Болдино Плетнева: «Что делает Филипп *(Луи-Филипп —озванный революцией новый король Франции.—Ю. Л.)* и здоров ли Полиньяк» — и даже в письме невесте интересовался, «как поживает мой друг Полиньяк» (уж Наталье Николаевне было много дела до французской революции!).

Между тем революционные потрясения волнами стали распространяться от парижского эпицентра:

25 августа началась революция в Бельгии, 24 сентября в Брюсселе было сформировано революционное правительство, провозгласившее отделение Бельгии от Голландии; в сентябре начались беспорядки в Дрездене, распространившиеся позже на Дармштадт, Швейцарию, Италию. Наконец, за несколько дней до отъезда Пушкина из Болдина началось восстание в Варшаве. Порядок Европы, установленный Венским конгрессом, трещал и распадался. «Тихая неволя», как назвал Пушкин в 1824 году мир, который предписали монархи, победившие Наполеона, народам Европы, сменялась бурями.

Беспокойный ветер дул и по России.

Эпидемии в истории России часто совпадали со смутами и народным движением. Еще были живы люди, которые помнили московский чумный бунт 1771 года, явившийся прямым прологом к восстанию Пугачева. Не случайно именно в холерный 1830 год тема крестьянского бунта впервые появилась в пушкинских рукописях и в стихотворениях шестнадцатилетнего Лермонтова («Настанет год. России черный год...»).

Известия о холере в Москве вызвали энергичные меры правительства. Николай I, проявив решительность и личное мужество, прискакал в охваченный эпидемией город. Для Пушкина этот жест получил символическое значение: он увидел в нем соединение смелости и человеколюбия, залог готовности правительства не прятаться от событий, не цепляться за политические предрассудки, а смело пойти навстречу требованиям момента. Он ждал реформ и надеялся на прощение декабристов. Вяземскому он писал: «Каков государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников простит — дай бог ему здоровье» (XIV, 122). В конце октября Пушкин написал стихотворение «Герой», которое тайно ото всех переслал Погодину в Москву с просьбой напечатать «где хотите, хоть в Ведомостях — но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукой переписанную» (XIV, 121–122). Стихотворение сюжетно

посвящено Наполеону: величайшим деянием его поэт считает не военные победы, а милосердие и смелость, которые он якобы проявил, посетив чумный госпиталь в Яффе. И тема и дата под стихотворением намекали на приезд Николая I в холерную Москву. Этим и была обусловлена конспиративность публикации: Пушкин боялся и тени подозрения в лести – открыто высказывая свое несогласие с правительством, он предпочитал одобрение выражать анонимно, тщательно скрывая свое авторство.

Однако стихотворение имело и более общий смысл: Пушкин выдвигал идею гуманности как мерила исторического прогресса. Не всякое движение истории ценно – поэт принимает лишь такое, которое основано на человечности. «Герой, будь прежде человек», – писал он в 1826 году в черновиках «Евгения Онегина». Теперь эту мысль поэт высказал печатно и более резко:

Оставь герою сердце! Что же  
Он будет без него? Тиран... (III, 1, 253).

Соединение тишины и досуга, необходимых для раздумий, и тревожного и веселого напряжения, рождающего чувством приближения грозных событий, выплынуло неслыханным даже для Пушкина, даже для его «осенних досугов», когда ему бывало «любо писать», творческим подъемом. В сентябре были написаны «Гробовщик» и «Барышня-крестьянка», завершен «Евгений Онегин», написана «Сказка о попе и работнике его Балде» ряд стихотворений. В октябре – «Метель», «Выстрел», «Станционный смотритель», «Домик в Коломне», две «маленькие трагедии» – «Скупой рыцарь» и «Моцарт и Сальери», писалась и была сожжена десятая глава «Евгения Онегина», создано много стихотворений, среди них такие, как «Моя родословная», «Румянный критик мой...», «Заклинание», ряд литературно-критических набросков. В ноябре – «Каменный гость» и «Пир во время чумы», «История села Горюхина», критические статьи. В Болдинскую осень пушкинский талант достиг полного расцвета.

В Болдине Пушкин чувствовал себя свободным как никогда (парадоксально — эта свобода обеспечивалась теми 14-ю карантинами, которые преграждали путь к Москве, но и отделяли от «отеческих» попечений и дружеских советов Бенкendorфа, от назойливого любопытства посторонних людей, запутанных сердечных привязанностей, пустоты светских развлечений). Свобода же для него всегда была — полнота жизни, ее насыщенность, разнообразие. Болдинское творчество поражает свободой, выражающейся, в частности, в нескованном разнообразии замыслов, тем, образов.

Разнообразие и богатство материалов объединялись стремлением к строгой правде взгляда, к пониманию всего окружающего мира. Понять же — для Пушкина означало постигнуть скрытый в событиях их внутренний смысл. Не случайно в написанных в Болдине «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» Пушкин обратился к жизни со словами:

Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ищу (III, 1, 250).

Смысл событий раскрывает история. И Пушкин не только за письменным столом окружен историей, не только тогда, когда обращается к разным эпохам в «маленьких трагедиях» или анализирует исторические труды Н. Полевого. Он сам живет, окруженный и пронизанный историей. А. Блок видел полноту жизни в том, чтобы

...смотреть в глаза людские  
И пить вино, и женщин целовать,  
И яростью желаний полнить вечер,  
Когда жара мешает днем мечтать,  
И песни петь! И слушать в мире ветер!

Последний стих мог бы быть поставлен эпиграфом к болдинской главе биографии Пушкина.

В Болдине было закончено значительнейшее произведение Пушкина, над которым он работал семь с лишним лет, — «Евгений Онегин». В нем Пушкин достиг еще неслыханной в русской литературе зрелости художественного реализма. Достоевский назвал «Евгения Онегина» поэмой «осознательно реальной»,

в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй»<sup>1</sup>. Типичность характеров сочетается в романе с исключительной многогранностью их обрисовки. Благодаря гибкой манере повествования, принципиальному отказу от односторонней точки зрения на описываемые события, Пушкин преодолел разделение героев на «положительных» и «отрицательных». Это имел в виду Белинский, отмечая, что, благодаря найденной Пушкиным форме повествования, «личность поэта» «является такою любящею, такою гуманною»<sup>2</sup>.

Если «Евгений Онегин» подводил черту под определенным этапом поэтической эволюции Пушкина, то «маленькие трагедии» и «Повести Белкина» знаменовали начало нового этапа. В «маленьких трагедиях» Пушкин в острых конфликтах раскрыл влияние кризисных моментов истории на человеческие характеры. Однако и в истории, как и в более глубоких пластах человеческой жизни, Пушкин видит мертвящие тенденции, находящиеся в борении с живыми, человеческими, полными страсти и трепета силами. Поэтому тема застывания, затормаживания, окаменения или превращения человека в бездушную вещь, страшную своим движением еще больше, чем неподвижностью, соседствует у него с оживанием, одухотворением, победой страсти и жизни над неподвижностью и смертью.

«Повести Белкина» были первыми законченными произведениями Пушкина-прозаика. Вводя условный образ повествователя Ивана Петровича Белкина и целую систему перекрестных рассказчиков, Пушкин проложил дорогу Гоголю и последующему развитию русской прозы.

После многократных неудачных попыток Пушкину удалось, наконец, 5 декабря вернуться в Москву к невесте. Дорожные впечатления его были невеселыми. 9 декабря он писал Хитрово: «Народ подав-

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. X. М., Гослитиздат, 1958, с. 446.

<sup>2</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 503.

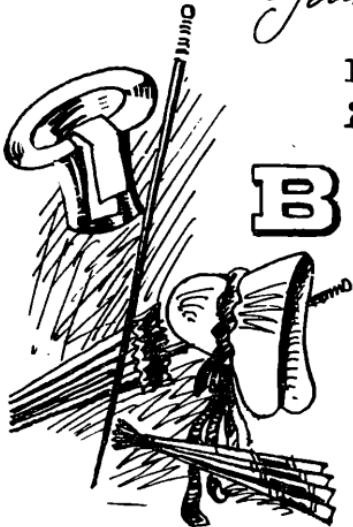
лен и раздражен. 1830-й год – печальный год для нас!» (*XIV*, 422).

Размышления над обстоятельствами Болдинской осени подводят к не лишенным интереса заключениям. В 1840-х годах в литературе получила распространение исключительно плодотворная идея определяющего воздействия окружающей среды на судьбу и характер отдельной человеческой личности. Однако у каждой идеи есть оборотная сторона: в повседневной жизни среднего человека она обернулась формулой «среда заела», не только объяснявшей, но и как бы извинявшей господство всесильных обстоятельств над человеком, которому отводилась пассивная роль жертвы. Интеллигент второй половины XIX века порой оправдывал свою слабость, запой, духовную гибель столкновением с непосильными обстоятельствами. Размышляя над судьбами людей начала XIX века, он, прибегая к привычным схемам, утверждал, что среда была более милостивой к дворянскому интеллигенту, чем к нему – разночинцу.

Судьба русских интеллигентов-разночинцев была, конечно, исключительно тяжела, но и судьба декабристов не отличалась легкостью. А между тем никто из них – сначала брошенных в казематы, а затем, после каторги, разбросанных по Сибири, в условиях изоляции и материальной нужды – не опустился, не запил, не махнул рукой не только на свой душевный мир, свои интересы, но и на свою внешность, привычки, манеру выражаться. Декабристы внесли огромный вклад в культурную историю Сибири: не среда их «заедала» – они переделывали среду, создавая вокруг себя ту духовную атмосферу, которая была им свойственна. Еще в большей мере это можно сказать о Пушкине: говорим ли мы о ссылке на юг или в Михайловское или о длительном заточении в Болдине, нам неизменно приходится отмечать, какое благотворное воздействие оказали эти обстоятельства на творческое развитие поэта. Создается впечатление, что Александр I, сослав Пушкина на юг, оказал неоценимую услугу развитию его романтической поэзии, а Воронцов и холера способствовали погружению Пушкина в ат-

мосферу народности (Михайловское) и историзма (Болдино). Конечно, на самом деле все обстояло иначе: ссылки были тяжким бременем, заточение в Болдине, неизвестность судьбы невесты могли сломать и очень сильного человека. Пушкин не был баловнем судьбы. Разгадка того, почему сибирская ссылка декабриста или скитания Пушкина кажутся нам менее мрачными, чем материальная нужда бедствующего по петербургским углам и подвалам разночинца середины века, лежит в активности отношения личности к окружающему: Пушкин властно преображает мир, в который его погружает судьба, вносит в него свое душевное богатство, не дает «среде» торжествовать над собой. Заставить его жить не так, как он хочет, невозможно. Поэтому самые тяжелые периоды его жизни светлы – из известной формулы Достоевского к нему применима лишь часть: он бывал *оскорблен*, но никогда не допускал себя быть *униженным*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "А. С. Пушкин".



## Глава восьмая

### НОВАЯ ЖИЗНЬ

**В**

Москве в церкви Большого Вознесения на Малой Никитской Пушкин 18 февраля 1831 года обвенчался с красавицей Натальей Николаевной Гончаровой. Ей шел девятнадцатый год. Неделю спустя он писал Плетневу: «Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего

в жизни моей не изменилось — лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется я переродился» (*XIV*, 154—155).

Пушкин был счастлив. В слове «счастье» для него в 1831 году не заключалось романтического представления о «неземном блаженстве» или «убийственной страсти». Напряженность страсти теперь не исключала, а подразумевала простоту и покой домашней жизни. Для счастья нужна была не только любовь, но и Дом, свой очаг, спокойное и достойное существование, «окончание кочевой жизни» (*XIV*, 152), как выразился хорошо понимавший душевное состояние Пушкина Плетнев, поздравляя друга с женитьбой.

Однако начало новой жизни сопровождалось грозными предзнаменованиями. Тот мир, в котором Пушкин собирался строить свой Дом, не предвещал покоя.

В мае 1831 года Пушкин с молодой женой выехал из Москвы, где он прожил первые месяцы своей брачной жизни в доме Хитровой на Арбате (ныне № 53) — дом был выбран по звуанию фамилии владелицы с Е. М. Хитрово — дочерью фельдмаршала М. И. Кутузова и верным другом Пушкина. Почти не задерживаясь в Петербурге, Пушкины отправились в Царское Село, где намеревались

проводить лето и осень. То, что Пушкин избрал для начала новой жизни именно места, связанные для него с лицейской памятью, было глубоко не случайно: здесь обрел он замену семьи в кругу товарищей, здесь хотелось ему начинать свою семейную жизнЬ «в уединении вдохновительном», «в кругу милых воспоминаний» (*XIV*, 158).

В Петербурге было тревожно.

Еще 17 ноября 1830 года вспыхнуло восстание в Варшаве. В начале 1831 года Польский сейм объявил о низложении династии Романовых и об отделении Польши от России. 24–25 января русские войска вступили на территорию Царства Польского. Началась война, которая приняла затяжной характер. А между тем в Петербурге появились первые признаки холеры, которая скоро, в значительной мере из-за бездействия властей, приняла характер эпидемии. 22 июня на Сенной площади вспыхнул бунт – народ убил нескольких врачей, в которых видел причину болезни, громил лазареты. Потребовался приезд царя и его личное участие в подавлении волнений. В июле волнения перекинулись в новгородские военные поселения – восставшие ловили и убивали офицеров и врачей. Участвовавший в подавлении бунта знакомец Пушкина Н. М. Коншин писал ему: «Как свиреп в своем ожесточении добрый народ русской! жалеют и истязают; величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами, и это все вместе» (*XIV*, 216).

Общеевропейское положение было не светлее: восстание в Польше и известие о вторжении русской армии в Польшу вызвало в Западной Европе, и особенно во Франции, волну антирусских настроений. Демократические и либеральные депутаты и общественные деятели требовали военного вмешательства на стороне Польши, в Париже возникали стихийные демонстрации. Пушкин опасался большой европейской войны – нового, как и в 1812 году, похода Европы против России.

Но и в малом, домашнем мире было далеко не безоблачно: за месяц до свадьбы Пушкин получил известие о кончине своего самого близкого друга – А. А. Дельвига. Потеря эта с особенной силой чувствовалась в Царском Селе, в кругу лицейских

воспоминаний. Царское Село было отгорожено холерными карантинами: почта ходила плохо и приносила нерадостные известия о новых жертвах болезни. 17 июля сюда приехал, спасаясь от холеры, двор – стало шумно и беспокойно. В городе подскочили цены. А у Пушкина, отрезанного от связей с книгопродавцами и ведшим его дела Плетневым, средства были ограничены.

Однако грозовая обстановка, опасность, соединенная с деятельностью, никогда не вызывали у Пушкина подавленного настроения. Письма его в эти дни бодры и даже веселы. Он полон энергии и готовится к осени – времени своих поэтических трудов.

Пушкину всегда был свойствен живой интерес к политике. В 30-ые годы его особенно тревожили внешние отношения России.

Политические воззрения Пушкина в этот период строились на основе идей историзма: человеческое общество представлялось ему как результат непрерывного и закономерного исторического развития. Это, с одной стороны, подразумевало отказ от романтической революционности, от надежд на мгновенную и произвольную перестройку общества в желаемом направлении, романтическим иллюзиям противопоставлялась суровая правда истории. Однако, с другой стороны, сама эта история рисовалась не в виде застывшей, неподвижной глыбы, а в облике постоянно текущего потока. Отвергалась не только романтическая революционность, но и консервативная аполигия неподвижности.

В области международных отношений это означало принцип невмешательства: историческое развитие народа подчинено внутренним законам и не должно подвергаться вмешательству извне. Этот принцип отвергал утвержденную Венским конгрессом в 1816 году идею международной солидарности монархов в борьбе с революциями, на основании которой французские войска в 1823 году подавили испанскую революцию, а Австрия ввела войска в Пьемонт и Неаполь. Когда в 1830 году произошла революция в Париже, а затем и в Бельгии, то Николай I, и по политическим симпатиям, и по династическим интересам (голландский двор находился в близких

родственных отношениях с русским), готов был вмешаться в эти события с тем, чтобы «навести порядок». Планы этого рода вызывали резкое осуждение со стороны Пушкина, считавшего и французские дела, и голландско-бельгийский конфликт «домашними» спорами народов Запада.

Стихотворение «Клеветникам России» было благосклонно встречено Николаем I (правда, к нему восторженно отнесся и Чаадаев, назвав в этой связи Пушкина «народным поэтом»; такие друзья Пушкина, как А. И. Тургенев или Вяземский, оценили стихотворение холодно или даже прямо неприязненно). У Пушкина мелькнула иллюзорная мысль о возможностиказать влияние на правительство, противостоя булгаринскому научничеству. Возможность соединить историческую мощь власти и неподкупность слова честных русских литераторов показалась слишком заманчивой: Пушкин обратился через Бенкendorфа к Николаю I с просьбой разрешить ему издание официальной политической газеты. В правительственные кругах к проекту Пушкина был проявлен интерес: быстро идущие в гору вчерашние арзамасцы, ренегаты Блудов и Уваров, потянулись к этой идее. Разрешение, после некоторых формальных проволочек, было дано. Однако Пушкин скоро понял, с кем ему придется сотрудничать, и остыл к своему замыслу, отложив исполнение на год, а затем, потихоньку, совсем от него отказался.

Надеждам, что правительство Николая I извлечет из потрясений 1830 – 1831 годов урок и обратится к осуществлению назревших реформ, не было суждено исполниться. Политическая бездарность тех, кто стоял у правительственного руля, проявилась в том, что вопрос об общественных противоречиях их волновал меньше, чем стремление воспрепятствовать их публичному обсуждению. Запрещая говорить об общественных недугах, жертвовали ради мнимого благополучия подлинным государственным здоровьем. Цензурный гнет резко усилился. В 1831 году прекратила свое существование «Литературная газета». 22 февраля 1832 года был запрещен журнал Киреевского «Европеец». Энергичные демарши

Жуковского и Вяземского, лично обращавшихся к царю, остались безрезультатными: их перевесили тайные доносы, явная неприязнь и царя и Бенкендорфа к некупленному слову и независимой мысли.

Надежды на любые формы сотрудничества с правительством Пушкин оставил. Тем с большей энергией обратился он к другой сфере, в которой развивающаяся идея историзма находила непосредственное приложение, — к историческим исследованиям. В июле 1831 года Пушкин получил официальное извещение о том, что ему разрешается для написания истории Петра Великого пользоваться государственными архивами. Пушкину даже было положено известное жалование как государственному служащему (правда, «милость» была только объявлена — реализовать ее забыли, и весьма нуждавшийся в деньгах поэт должен был напоминать и наталкивался на бюрократические препоны в получении этих денег). Несколько позже Пушкин уведомил военного министра о своем намерении работать над биографией Суворова и под этим предлогом получил доступ к материалам, касающимся восстания Пугачева. Тема эта с некоторых пор все больше его занимала.

Однако чувство подхваченности грандиозным историческим движением формировало не только политические взгляды или исследовательские интересы Пушкина. Оно сказывалось на самой сущности личности и поведения поэта, на том, как он осмысливал себя и свою семейную жизнь.

«Историзм» в собственном жизнестроительстве означал, прежде всего, чувство причастности к истории, ощущение себя как части единого потока жизни, а не отдельного, замкнутого в себе существа. Пушкин в 1830-е годы проникнут мыслью о том, что бытие отдельного человека — лишь звено в цепи между предками и потомками — цепи, оба конца которой уходят в бесконечность. При этом в такой же мере, в какой человек мыслился не как абстрактная единица, а представлял собой живое существо, *меня*, во всей моей жизненной конкретности, предки и потомки мыслились не «вообще» — это были деды и прадеды, чьи портреты, писанные крепостными

живописцами и приезжими из Амстердама и Парижа художниками, висели в зале запущенного родового деревенского дома, а могилы наполняли родовое кладбище (крестьянин не имел портретов в своей избе, но, подобно дворянину, знал и чтил места последнего упокоения отцов, дедов и прадедов); потомки – это сыновья и внуки, которые заполнят комнаты моего дома, будут шуметь и целоваться под теми же деревьями парка и, в свою очередь, дадут жизнь новому поколению. Войти в эту цепь – значит вести подлинно историческое существование. Здесь, в частной жизни, а не в кабинетах царей или залах парламентов, история делается ощутимой реальностью.

Первым следствием такого взгляда было чувство непрерывного обновления жизни и постоянная готовность принимать ее новые формы. В разгар холеры, в грустное для себя и для других время, Пушкин получил от Плетнева горестное письмо с известием о смерти старика Молчанова, к которому Плетнев был искренне привязан. Пушкин отвечал: «Письмо твое от 19 крепко меня опечалило. Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестою, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; мальчишки станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы» (XIV, 197). «Новые созреют нам друзья» – молодой Пушкин был окружен старшими: друзьями-учителями, возлюбленными-учительницами. Текущее окружение его – молодежь: молодая жена, к которой приехали ее молодые и незамужние сестры; в доме все больше детей: в 1832 году Наталья Николаевна родила дочь Машу, в 1833 – сына Сашу, в 1835 – сына Гришу, в 1836 – дочь Наташу. Друзья и приятели Пушкина в эти годы «молодеют» – состав

пушкинского окружения обновляется: его явно тянет к молодежи, новизне лиц и мнений. Когда-то он жаждал найти себе замену отца — теперь он сам с удовольствием играет роль отца и наставника в жизни и литературе.

Однако понятие «звена в цепи» в пушкинском представлении особое: чтобы передать эстафету поколений, надо самому быть яркой личностью, обладающей собственным достоинством, личной независимостью, полнотой духовной и душевной жизни, богатством ума и эмоций. Только тот — часть истории, кто одновременно и яркое человеческое целое. Не обезличивание и подчинение, а независимость, цветение человеческой индивидуальности, яркость переживаний, вдумчивость и беззаботность — одновременно, веселость и печаль — одновременно — вклад в культуру и приобщение к культуре.

При таком взгляде Дом становился средоточием и национальной, и исторической, и личной жизни. И это был не абстрактный «Дом вообще», а свой собственный Дом — единственный и реальный. Если помножить силу этих идей на силу подлинной страсти, которую испытывал Пушкин к своей жене, то сделается очевидным, какое место занимала в жизни Пушкина Наталья Николаевна, Натали, как ее называли в свете, Таша — по-домашнему. Так ее стал именовать и Пушкин. Она была моложе мужа на тринадцать лет, воспитана так, как воспитывались молодые дворянки-москвички из культурных, но не очень богатых семей, была бесприданница. Наталья Николаевна Гончарова отличалась нежной, акварельной красотой (Пушкин называл ее своей Мадонной), прекрасной фигурой и величественным ростом (выше Пушкина). Небольшая раскосость глаз придавала ей особенную прелесть. Она отличалась тактом и аристократической простотой манер, держала себя ласково и одновременно с холодноватым достоинством. Романтический брак по страсти в ту пору встречался чаще в романах, чем в жизни. Влюблялся и выбирал мужчина. Девушка чаще всего соглашалась отдать руку. Подлинное знакомство начиналось уже после церковного обряда. В счастливых случаях оно перерастало в спокойную дружескую

привязанность или просто привычку. В мене счастливых – в покорное терпение. Семейные неурядицы редко предавались огласке.

Наталья Николаевна отдала свою руку Пушкину без страстного увлечения. Он не был красив (прелесть его увлекательного разговора, выразительность некрасивого лица, глубину души она, невестой, вряд ли могла оценить). Он не был богат и во всех отношениях не мог считаться блестящей партией. Решающую роль сыграло, видимо, желание избавиться от тяжелого деспотизма матери.

Став женой Пушкина, Наталья Николаевна достойно исполняла эту нелегкую роль. Пушкин был гениален не только как поэт, но и как человек – полнота жизни буквально взрывала его изнутри: ему нравилось течь, как большая река, одновременно многими рукавами – быть и поэтом, и светским человеком, и ученым, и единственным меланхоликом, и любителем шумных народных гуляний (непременно с дракой!), и семьянином, и карточным игроком, беседовать с царем и с ямщиками, с Чаадаевым и светскими дамами. Его на все хватало, и всего ему еще не хватало. Того же он хотел и от жены: ему нравилось, как она домовито хозяйничает, расчетливо спорит с книгопродавцами из-за денег, рожает детей одного за другим, блистает на балах. Он хотел бы ее видеть тихой хозяйкой в деревенском доме далеко от столицы и звездой петербургского бала, ослепительной и непрступной. Он не задумывался, по силам ли это ей, московской барышне, вдруг ставшей женой первого поэта России, первой красавицей «роскошной, царственной Невы», хозяйкой большого дома – всегда без денег, с дерзкими слугами, болеющими детьми, всегда или после родов, или в ожидании ребенка. Чувство своей «взрослости» оглушило ее, успех кружил голову. Но она была неглупа и добродетельна. Недаром Пушкин писал ей: «Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на све>те – а душу твою люблю я еще более твоего лица» (XV, 73).

Итак, Пушкин женился. Чего он ждал от семейной жизни и какой должна была бы быть, по его представлениям, эта *семейная жизнь поэта*? Мы видели, что вдохновлявшиеся романтическими представлениями друзья поэта вообще считали семейное счастье опасной для вдохновения прозой. Талантливый художник К. Брюллов, который подчинял свою собственную жизнь законам артистической богемы, оставил нам воспоминания о своем посещении дома Пушкиных. Поэт хотел показать Брюллову своих детей — дети уже спали. Пушкин начал их, сонных, выносить по одному на руках и показывать художнику. Брюллова не растрогала эта сцена — он счел ее «натянутой»: он был глубоко убежден, что жизнь поэта несовместима с семейными радостями. Ему показалось, что Пушкин старается внушить и ему, и самому себе, что он счастлив. В реальность такого счастья Брюллов не верил.

Но Николай и Бенкendorf восприняли женитьбу Пушкина «с чувством благосклонного удовлетворения» (XIV, 81). Им казалось, что поэт, женившись, «остепенится» и перестанет быть для них источником беспокойства. Совсем с иных позиций, но тоже надеясь на наступление для Пушкина более спокойных лет, брак его одобряли и некоторые из близких приятелей. Какой же идеал семейной жизни рисовался самому Пушкину?

Идеал этот приходилось создавать самому: предшествующая культурная традиция изобиловала образами любви счастливой и любви несчастной, она содержала даже (правда, в значительно меньшем количестве) поэтические картины семейного «рая в шалаше», но о том, как совместить поэзию семейной жизни с ее прозой, — она молчала. Все знали, как должен себя вести в жизни поэт-романтик. Но каковы нормы жизненного поведения «поэта жизни действительной»? Как реализм художественного мировоззрения должен преломиться в каждодневном быту поэта?

В III главе «Евгения Онегина» Онегин иронически характеризует Ленскому семейство Лариных словами: «простая русская семья». Сейчас Пушкин сходными словами мог бы охарактеризовать свой

идеал семейной жизни. Идеал этот отнюдь не был «прост» и включал в себя много пушкинских надежд и заветных убеждений. Прежде всего он противостоял представлениям о модном браке и светском открытом доме. Вообще, он с трудом совмещался с жизнью в Петербурге.

Для того, чтобы представить себе, какой дух хотел бы Пушкин сделать господствующим в своем доме, вчитаемся в стиль его писем к жене.

Прежде всего, они написаны по-русски.

Вопрос, по-русски или по-французски пишется то или иное письмо, в пушкинскую эпоху имел большое значение. Письмо, обращенное к тому или иному лицу, не только служило средством сообщения ему каких-либо сведений, но и устанавливала нормы общения между адресатом и автором письма. Сюда относятся и форма обращения (в России для официальной переписки существовали строго установленные формулы обращения для всех лиц от императора до мелкого чиновника и неслужащего и не имеющего чина дворянина; нарушение их было абсолютно исключено), и форма подписи. Известен рассказ о том, как в начале XIX века важный вельможа, обращаясь к лицу, приблизительно равному ему по рангу, употребил выражение «милостивый государь мой» (вместо просто «милостивый государь»). Адресат оскорбился: обращение показалось ему слишком фамильярным и унижающим его достоинство — и ответил, в свою очередь, обращением: «Милостивый государь, мой, мой, мой!»

При такой чуткости к этикетной стороне писем язык, на котором они пишутся, приобретал особое значение. Язык этот далеко не всегда совпадал с тем, на котором корреспонденты говорили при встрече. Так, для русского дворянина было вполне естественно при разговоре с императором пользоваться французским языком, но писать письмо царю надо было при Николае I по-русски: обращение к царю по-французски утрачивало тот верноподданнический характер, который на него накладывали обязательные формулы и штампы, и приобретало свободу обращения дворянина к дворянину. Пушкин писал Бенкendorфу только по-французски. Этим он устранил необходи-

мость прибегать к унизительно-бюрократическому тону и устанавливал стиль светского равенства как норму общения.

Зная нормы бытового общения, принятого в том социальном кругу, к которому принадлежал и Пушкин, можно полагать, что дома он обычно разговаривал с женой по-французски. Тем более знаменательно, что письма ей он писал исключительно по-русски. Этим он как бы устанавливал норму семейного стиля. Но это был не простой нейтральный, стилистически никак не окрашенный русский язык. Можно быть уверенными, что таким русским языком Пушкин ни с кем в Петербурге не разговаривал – таким языком он, возможно, говорил с Ариной Родионовной. Вот как он обращается к Наталье Николаевне: «женка», «душка моя», «какая ты дура, мой ангел!», «ты баба умная и добрая». Детей он называет не *Marie* и *Alexandre*, как это было принято в его кругу, а Машка или Сашка или «крыжий Сашка», позже появится в его письмах Гришка (писем жене с именем младшей дочери Наташи не сохранилось, однако характерно, что даже в письме ближайшему приятелю он называет ее не так, как именовал детей в письмах жене, а полным именем: жена «благополучно родила дочь Наталью»). «Что Машка? чай куда рада, что может в волю воевать». Жену он наставляет в подчеркнуто патриархальном тоне: «Не смей купаться – с ума сошла, что ли!», «только полно врать; поговорим о деле; пожалуй-ста, побереги себя» (здесь характерно архаическое, но еще державшееся в разговорном языке XVIII века употребление «врать» в значении «говорить пустяки» и подчеркнуто простонародное «пожалуй-ста», явно влияющее на интонацию его произнесения). А вот как он описывает Наталье Николаевне свое «житье-бытье»: «Эх женка! почта мешает *(т. е. мешает присутствие чужого глаза, читающего интимные письма. – Ю. Л.)*, а то бы я на-врал тебе с три короба», «одна мне есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое», писем от Натальи Николаевны он ждет «из Новагорода» (а не из Новгорода), о хлопотах, связанных с материальными делами

родителей и сестры, он пишет: «А им и горя мало. Меня же будут цыганить».

Если салонный язык отличается жеманной утонченностью, то Пушкин в письмах к жене не только подчеркнуто прост — он простонародно грубоват, называя все вещи их прямыми наименованиями. Близкая приятельница семьи Пушкиных, блестящая, умная, соединяющая красоту с образованием и вкусом А. Смирнова, ждет ребенка — Пушкин пишет жене: «Смирнова не бывает у Карамзиных, ей не втащить брюха на такую лестницу». И это не грубость — это сознательная ориентация на простоту и истинность народной речи. В конце писем он неизменно посыпает детям патриархальное благословение, а жене — желания такого рода: «Вчера приехал Озеров из Берлина с женой в три обхвата. Славная баба; я смотрел на нее, думал о тебе и желал тебе воротиться из Завода<sup>1</sup> такою же тетею. Полну тебе быть спичкой. Прощай, жена».

Язык пушкинских писем к жене был явлением совершенно новым: он подразумевал реализм не только в творчестве, но и в лепке собственной жизни, стремление к простоте и правде как законам ежедневного жизнеустройства. Здесь Пушкин мог опереться лишь на один опыт — литературный и жизненный — опыт Ивана Андреевича Крылова. Крылов, будучи литератором-профессионалом и одним из самых популярных русских поэтов, принятый запросто в домах вельмож, одинаковым тоном говорящий с солдатом на улице и царем во дворце, завоевал себе совершенно уникальное в николаевском Петербурге право — быть везде самим собой. Он говорил простонародным языком, спокойно спал, не стесняясь своего громкого храла, на светских приемах, прослыл чудаком, но зато завоевал себе право жить, не считаясь с тем, «что будет говорить княгиня Марья Алексеевна» (Грибоедов). Ни один критик не смел обругать его басни, ни один светский щеголь — посмеяться над его манерами. В рабском Петербурге он был свободен, если приравнять свободу к личной независимости.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду Полотняный завод — имение Гончаровых, куда уехала Наталья Николаевна с детьми летом 1834 года.

Когда Пушкин писал жене и стилем этих писем, как на эскизе архитектора, набрасывал контуры своего Дома, образ Крылова, интонации его языка оживали в глубине его души. Это выдают некоторые обороты речи. Так, в письме от 11 июля 1834 года он пишет жене: «Ты, женка моя, пребезалаберная... Подумай обо всем, и увидишь, что я перед тобою не только не прав, но чуть не свят». Вряд ли Наталья Николаевна, читая это письмо, вспомнила басню Крылова «Мор зверей»:

И все, кто были тут богаты  
Иль когтем, иль зубком, те вышли вон  
Со всех сторон  
Не только правы, чуть не святы.

Да и Пушкин, наверное, не рассчитывал, что цитата будет узнана – Крылов выступал здесь как учитель языка, источник «русизмов» речи.

Ответные письма Натальи Николаевны нам неизвестны: они затерялись и до сих пор не найдены. Вероятнее всего, она отвечала мужу по-французски.

Поэзия семейной патриархальности, идиллическая картина домашнего гнезда не была беспочвенным и культурно-бесперспективным мечтанием. От пушкинских размышлений 1830-х годов идет прямая дорога к поэтическим картинам «Войны и мира» и ко всему человеческому образу Льва Толстого. Это были не столько оформленные теоретические концепции, сколько глубокое жизнеощущение, коренящееся в самых основах личности. Питалось оно общей потребностью свободы.

Личное поведение переставало быть личным делом, а семья оказывалась не последним бастионом, куда скрывается разочарованный и усталый поэт, махнувший рукой на общественные цели, а передовым редутом в крепости новой культуры.

Для того чтобы выполнить ту высокую роль, которую Пушкин отводил в своих думах семье, – действительно сделаться цитаделью личной независимости и человеческого достоинства, – она должна быть гарантирована от полицейского вмешательства, должна сделаться святыней, в которую никакая

власть – от рядового соглядатая до императора – не смеет сунуть свой нос. Государство занимается политическим бытием подданных, частная жизнь – их личное дело.

Однако эти идеалы, укладывающиеся в английскую поговорку «Мой дом – моя крепость», плохо вязались с реальностью николаевской России. Представление о том, что его власти могут быть поставлены какие-либо пределы, было Николаю I и чуждо и непонятно. Организованный при нем корпус жандармов получил исключительно широкие и сознательно неопределенные полномочия. Присматривая дела III отделения и донесения жандармов, убеждаешься, что в поле их зрения попадали не только преступления политические, но и преступления против нравственности, и даже вообще не поступки, а намерения, мнения, слова и мысли. Жандармы могли заинтересоваться кругом чтения того или иного человека, содержанием его частной переписки, они не стеснялись распечатывать любовные письма и подслушивать дружеские разговоры. Александра Осиповна Смирнова из-за границы писала: «В матушке России, хоть по-халдейски напиши, так и то на почте разберут ... я иногда получаю письма, просто разрезанные по бокам». В этих условиях надежда на какую-то отгороженную от государственной власти семью была иллюзорной, и Пушкин в этом вскоре убедился.

В конце апреля 1834 года Пушкин написал письмо жене, в котором сообщал, что, сказавшись больным, он не пошел поздравлять наследника престола (будущего Александра II) с совершеннолетием. В нем содержалась ироническая оценка придворных обязанностей, навязанных Пушкину Николаем I. Письмо было вскрыто на почте, передано Бенкendorфу и от него попало к царю. Пушкин, узнавший обо всем от перепуганного Жуковского, был крайне возмущен. В дневнике 10 мая 1834 года он записал: «Какая глубокая безнравственность в привычках нашего Правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному) и царь не стыдится в том признаться – и давать ход интриге,

достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудрено быть самодержавным» (XII, 329).

Здесь сконцентрированы основные черты отношения Пушкина к власти в этот момент: попытка отделить царя-человека, отношение к которому окрашено еще в тона снисходительности и признания известных достоинств («честный человек»!), от принципа самодержавия как такового, в котором, а не в человеческом характере императора, усматривается корень зла. Особенно же существенно подчеркивание безнравственности как основного принципа правительства. Распечатывание полицией писем с целью политического надзора было в России в ходу со времени Екатерины II (ввел его пост директор И. Пестель – отец декабриста). При Николае I оно вошло в систему, и образ почтмейстера Шпекина в «Ревизоре» Гоголя был исполнен глубокой актуальности<sup>1</sup>. В 1827 году Жуковский, столкнувшись с фактом незаконной проверки его писем, с возмущением писал А. И. Тургеневу: «Кто вверит себя почте? Что выиграли, разрушив святыню, веру и уважение к правительству? Это бесит! Как же хотят уважения к законам в частных лицах, когда правительство все беззаконное себе позволяет?»<sup>2</sup>

Пушкин еще во время южной ссылки знал, что его письма подвергаются перлюстрации. Но тогда он только отшучивался: предлагая Вяземскому организовать переписку, минуя почту, он заключал: «Я бы тебе переслал кой-что слишком для нее тяжелое. Сходнее нам в Азии писать по оказии» (XII, 82). Теперь возмущению его не было конца: полицейский надзор вторгался туда, где он надеялся обосновать духовную крепость культуры, – в Семью и Дом. Он писал жене о «тайне семейственных сношений, проникнутой скверным и бесчестным образом». «Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семей-

<sup>1</sup> Белинский писал Гоголю в своем знаменитом письме: «Шпекины распечатывают чужие письма не из одного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов».

<sup>2</sup> Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895, с. 232.

ственной жизни» (XV, 150). И через несколько дней снова: «Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство à la lettre (буквально. – Ю. Л.). Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкословенности (inviolabilité de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше» (XV, 154).

Эти письма – не просто жалобы: предаваться бессильным жалобам менее всего было в характере Пушкина. Это начало борьбы. Прежде всего, Пушкин дает правовое определение своей позиции: по аналогии с юридическим термином, составляющим основу западноевропейских правовых норм, «неприкословенность личности» он вводит собственное понятие – «семейственная неприкословенность» (французский перевод должен утвердить именно характер юридического термина за этим выражением). Развивая эту мысль, он говорит о двух разновидностях свободы – политической, которая заключается в возможности

оспаривать налоги,  
Или мешать царям друг с другом воевать (III, 1, 420),

и духовной независимости, основанной на семейственной неприкословенности (сейчас лишь закладываются первые основы этой идеи – в творчестве, и особенно в лирике 1835 – 1836 годов, они получат широкое развитие). Намек на каторгу имеет ясный смысл: он сопоставляет декабристов – борцов за политическую свободу (никакая другая каторга в данном контексте Пушкину, конечно, не могла прийти в голову) – и себя, начинаящего сражение за духовную независимость от власти.

Характер борьбы определял и тактику. Убедившись, что его письма читают, он, прежде всего, ответил отказом признать и принять действия властей как норму. Демонстративно игнорируя этот факт, он начинает писать жene письма, значительно более резкие, чем то, с которого начался весь конфликт. В них он, во-первых, дает общее обоснование «семейственной неприкословенности» (то, что в нее входит право на тайну переписки, показывает широту трактовки Пушкиным этого понятия). Базируется эта

неприкословенность не на политических, а на моральных основаниях. Во-вторых, он начинает борьбу с лицами, которых он считает виновными в нарушении его прав мужа и главы семейства. Зная, что именно они будут, в первую очередь, читать его письма и, в то же время, никогда не посмеют в этом прямо признаться, он шлет им прямо в лицо оскорбительные характеристики. Так, Пушкин с основанием подозревал, что первым звеном в цепи перлюстрации является московский почт-директор А. Я. Булгаков. Сашка Булгаков, как его презрительно именовал Пушкин в своем дневнике, соединял в одном лице Шпекина и Загорецкого: ловкий, любезный, «всебобщий одолжитель», как его именовали в кругу пушкинских приятелей, он был, в первую очередь, живая хроника светских сплетен, переносчик новостей и передатчик слухов. Сделавшись в 1832 году московским почт-директором, он, по словам Вяземского, попал в свою стихию: «Он получал письма, писал письма, отправлял письма, словом купался и плавал в письмах, как осетр в Оке»<sup>1</sup>.

Однако он не только «купался и плавал», но и упражнялся в искусстве, осетрам неизвестном: распечатывал и читал чужие письма, разнося потом по знакомым пикантные новости. Делал он это и по собственному почину, «из любви к словесности». Однако просмотр дел III отделения свидетельствует и о менее невинных забавах: копии с прочтенных писем Булгаков регулярно направлял Бенкендорфу.

Пушкин начал наступательную кампанию за тайну семейной переписки с того, что нанес «Сашке Булгакову» сознательное и страшное оскорблечение. Зная, что его письмо попадет в руки московского почт-директора, он предупреждал жену быть осторожнее в письмах, так как в Москве «состоит почт-директором негодяй Булгаков, который не считает грехом ни распечатывать чужих писем, ни торговать собственными дочерьми»<sup>2</sup>.

Письмо это Пушкин не только послал по почте, но и показал приятелям (именно поэтому текст известен, хотя подлинник до нас не дошел).

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1882, с. 189.

<sup>2</sup> «Русская старина», 1880, т. III, с. 219.

В выборе тех, кому письмо показывалось, виден умысел и обдуманная стратегия. Так, например, Пушкин показал письмо поэту средней руки М. Д. Деларю. Деларю не был близким приятелем Пушкина, но зато он был другом П. И. Миллера. А Миллер — сам лицеист и поклонник таланта Пушкина — был личным секретарем Бенкендорфа, и Пушкин мог рассчитывать, что информация о его конфликте с почтой получит в высших сферах не только то освещение, которое ему придает Булгаков (Пушкин был склонен считать, что неприятность со вскрытым письмом произошла от того, что оно было неправильно истолковано царю; в дневнике он писал: «Полиция *(читай — Бенкендорф. — Ю. Л.)*, не разобрав смысла, представила письмо Г*(осудар)*ю, который *сгоряча* также его не понял»).

Обдуманным ударом было упоминание о «торговле собственными дочерьми». Младшая дочь А. Я. Булгакова Ольга, вышедшая замуж за кн. А. С. Долgorукова за три недели до женитьбы Пушкина, была известной московской красавицей. О ее близости с Николаем I ходили скандальные слухи. Пушкин записал в дневнике, что Николай в Москве «ухаживал за молодою кн. Д*(олгорукою)*». Когда у нее родилась первая дочь, Николай был крестным отцом. Упоминая этот слух, Пушкин лишал Булгакова возможности передавать копию письма по начальству.

Однако Пушкин не собирался ограничиваться клеймом на лбу почтового чиновника. Ему надо было, чтобы и царь знал, как называются подобные действия на языке честных людей. После эпизода с распечатыванием письма он делается в письмах особенно резок, сопровождая наиболее сильные выражения многозначительной пометой: «Это писано не для тебя»; «Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами?» (XV, 154). И, нарушая всякую осторожность, он постоянно призывает жену к осторожности, подчеркивая, что он ни на минуту не упускает из виду посторонних глаз, обращенных на их переписку: «Будь осторожна... вероятно и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность»

(XV, 157). Горькая ирония последних слов направлена тому же адресату. Царь любит показывать себя джентльменом: он безупречно вежлив с дамами, любит рыцарские жесты. Пушкин рисует в письмах едкую карикатуру: джентльмен, читающий чужие письма, и тут же с оскорбительным великодушием прощает царю эту меру «государственной безопасности»: «На *того* я перестал сердиться, потому что *toute réflexion fait*<sup>1</sup> не он виноват в свинстве его окружающим». И далее пишет, что «живя в нужнике», поневоле привыкнешь к его вони, «и вонь его тебе не будет противна, даром что *gentleman*<sup>2</sup>. Ух кабы мне удрать на чистый воздух» (XV, 159). Эта уникальная характеристика николаевского царствования была предназначена для правительственные читателей.

Случай с распечатыванием писем приобретал в газах Пушкина символическое значение, становясь знаком бесправия личности в самодержавно управляемой стране. Настроения Пушкина, видимо, близко соответствовали излюбленному выражению С. В. Салтыкова, известного чудака и оригинала, «вторники» которого в его доме на Малой Морской Пушкин охотно посещал в 1833 – 1836 годах. С. В. Салтыков в раннем детстве поссорился с будущим Александром I, товарищем детских игр которого он был. Карьера его была безнадежно испорчена, он рано вышел в отставку и замкнулся в одинокой и демонстративной оппозиции. Знакомец и собеседник Салтыкова вспоминает одну из любимых тем его разговоров: «Часто Салтыков обращался к своей жене со словами, возбуждавшими мое удивление: «Я видел сегодня *le grand bourgeois*, – кого он подразумевал под этим не трудно догадаться, – уверяю тебя, *ma chère*, он *может* выпороть тебя розгами, если *захочет*; повторяю: он *может*»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> В сущности говоря (франц.).

<sup>2</sup> Джентльмен (англ.).

<sup>3</sup> *Le grand bourgeois* – «великий мещанин» (франц.). Называя царя «мещанином», Салтыков выражал аристократическое презрение главе императорской власти.

Ма *chère* – «моя дорогая» (франц.). Автор цитаты – Вильгельм фон Ленц. Цит. по: Дневник А. С. Пушкина. – «Труды гос. Румянцевского музея», вып. 1. М., 1923, с. 145.

Здесь уместно вспомнить слова Льва Толстого, чья реакция на полицейский обыск в Ясной Поляне в 1862 году психологически напоминает негодование Пушкина. Л. Н. Толстой писал 7 августа 1862 года своей тетке А. А. Толстой: «Я и прятаться не стану, я громко объявию, что продаю имение, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, я уеду».

Совпадение позиций Толстого и Пушкина глубоко не случайно: именно у Толстого нашла свое продолжение пушкинская традиция культивирования святыни домашнего гнезда как основы «самостоянья человека».

Краеугольным камнем пушкинской программы была личная независимость. Но именно это в николаевском «свинском Петербурге» оказалось наименее достижимым. Препятствия все возрастили.

Николай I не хотел спускать глаз с Пушкина. То же советовал ему и Бенкендорф: «Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе»<sup>1</sup>.

1 января 1834 года Пушкин записал в своем дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкера — что довольно неприлично моим летам»<sup>2</sup> (XII, 318). «Пожалование» это доставило поэту много неудобств, а в дальнейшем явилось одной из причин его трагического конца. Пушкин оказался прикованным к Петербургу и двору. Отныне он был обязан являться на все официальные церемонии в придворном мундире, выслушивать поучения не только Бенкендорфа, но и обер-камергера двора графа Литта. Николай I был в душе мелочный тиран: даже в церкви он постоянно делал замечания придворным,

<sup>1</sup> Старина и новизна, кн. VI. СПб., 1903, с. 10.

<sup>2</sup> Пушкин был отставлен от службы в 1824 году в чине коллежского секретаря («десятого класса»). После этого он не служил, и Николай I, принимая его вновь на службу, дал следующий чин — девятого класса (классы шли по убывающим номерам). В придворной службе, куда царь зачислил поэта, это был чин камер-юнкера. Формально царь был справедлив, не желая для Пушкина нарушать порядка производства в чины, но по существу это было оскорблением: камер-юнкеры все были почти мальчики по возрасту.

выравнивал великих князей и княжон в ряд, как солдат на параде. Пушкину предстояло постоянно выслушивать мелочные замечания о нарушении им придворного ритуала. Больно задело самолюбие Пушкина и другое: камер-юнкерское звание было незначительным. Его, как правило, получали молодые люди, ничем себя не зарекомендовавшие. Появление тридцатипятилетнего поэта, отца семейства, в этой толпе давало поводы для насмешек и одновременно демонстрировало, что быть поэтом, с точки зрения Николая I, означало не быть никем.

Пушкин не мог не принять царской «милости», однако открыто демонстрировал свое недовольство: отказался шить камер-юнкерский мундир, и друзьям пришлось почти насильно купить ему по случаю мундир с чужого плеча, пропускал придворные церемонии, вызывая недовольство царя. Встретив царя впервые после принятия в службу на балу у графини Бобринской, Пушкин не поблагодарил его за пожалованный ему чин (что абсолютно требовалось этикетом), а завел разговор о Пугачеве, над историей которого он работал: он разговаривал с царем не как камер-юнкер, а как поэт и историк.

Наталья Николаевна отнеслась к камер-юнкерству мужа иначе. Ей едва исполнилось двадцать два года. Ей хотелось веселиться, ей нравились балы, на которых она была первой красавицей. Она как бы вознаграждала себя за безрадостные детство и юность в угрюмом доме, между полубезумным (а вскоре совсем сошедшим с ума) отцом и матерью, страдавшей запоями. Как жена камер-юнкера, она становилась обязательной участницей не только торжественных балов и приемов в Зимнем дворце, но и пользовавшихся гораздо большим престижем в петербургском свете интимных придворных балов и раутов в Аничковом дворце, куда допускались лишь самые избранные и близкие царской семье лица. Ей льстило, что красота ее произвела впечатление на самого царя, который платонически за ней ухаживал. У Пушкина не было оснований опасаться за нравственность своей жены, которой он верил беспредельно, но ухаживания эти были ему тягостны, так как порождали светские сплетни.

Свет и двор сразу же стали силой, которая, заявляя свои права на душу и интересы Натальи Николаевны, грозила разрушить пушкинский идеал дома и семьи. Пушкин отвечал насмешками, стараясь развенчать в глазах Натальи Николаевны обаяние «светской суеты». Сообщая же сплетни, которые на ее счет ходят по Москве, он писал: «Видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостию, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Не хорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение Вашего пола» (XVI, 112 – 113). «Кто-то» здесь – Николай I.

Тяжба со светом за душу Натальи Николаевны неотступно занимала мысли Пушкина. Строя свой Дом, он сочувственно вспоминал стихи Кантемира:

Щей горшок, да сам большой – хозяин я дома...

Однако еще только обдумывая свой идеал семейной жизни, он понял, что необходимым условием реализации его планов является Хозяйка. Как позже Лев Толстой, он задумал «жениться на барышне» (выражение из лексикона Л. Толстого в период обдумывания им планов семейной жизни) и сделать ее Хозяйкой Дома. Строку Кантемира он характерно переделал:

Мой идеал теперь – хозяйка,  
Мои желания – покой,  
Да щей горшок, да сам большой (VI, 201).

Он упорно ведет Наталью Николаевну к этому идеалу. В письмах он наставляет: «Какие же вы помощницы или работницы? Вы работаете только ножками на балах и помогаете мужьям мотать». Итак, с одной стороны – хозяйка, помощница и даже работница, а с другой – светская дама, посетительница балов.

Мысли и раздумья Пушкина и Толстого поразительно близки: идеал Семьи и Дома мыслится ими не как «светский» и «петербургский», а национальный и даже простонародный. Но даже для героя «Анны Карениной» Константина Левина мысль «жениться на крестьянке» остается утопической. Любовь, привычки, воспитание привязывают его к девушке из дворянского мира. Пушкин, как позже Толстой и его

герой, приходит к мысли: из «барышни» воспитать Хозяйку. Вся система отношений Пушкина к Наталье Nikolaevne – это система воспитания. Но Лев Толстой для того, чтобы «воспитать» Софью Андреевну в соответствии со своими идеалами, увез ее в Ясную Поляну – Пушкин был прикован к «свинскому Петербургу»: все попытки его переселиться в деревню наталкивались на недоброжелательство Бенкендорфа и подозрительность царя.

Набрасывая в 1834 году одно из самых задушевных своих стихотворений – обращенное к жене «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», Пушкин написал на том же листке план его продолжения – квинтэссенцию своих чувств и мыслей в это время: «Юность не имеет нужды в *at home* («у себя дома» – англ.), зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен кто находит подругу – тогда удались он *домой*.

О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню – поля, сад., крестьяне, книги; труды поэтические – семья, любовь, etc. (и т. д. – франц.) – религия, смерть» (III, 2, 941).

Однако семейные идеалы Пушкина и Л. Толстого совпадали лишь частично: мироощущение Пушкина было свободно от какого-либо налета аскетизма. Он хотел от жизни полноты, его привлекало не самоограничение, не размышления о том, «сколько человеку земли нужно», а жизнь, бывающая через край, играющая всеми возможными красками. Поэтому отвращение от «свинского Петербурга» отнюдь не означало для него отказа от поэтической прелести петербургских белых ночей, от напряженной культурной жизни во всем ее разнообразии – от трудов по изданию журнала (что возможно было только в столице) до умной и оживленной беседы в обществе близких по духу литераторов, споров, обмена мнениями в кругу дипломатов или вдохновляющих бесед с обладающими развитым вкусом и поэтическим чутьем собеседницами.

Было бы заблуждением думать, что ни светская жизнь, ни образ светской женщины не имели для Пушкина привлекательности. Не случайно в то же самое время, когда он провозглашал, что его идеал –

хозяйка, свою любимую Татьяну он сделал «законодательницей зал». Светские салоны Е. М. Хитрово, Долли Фикельмон или Софи Карамзиной – оазисы культурной жизни в «свинском Петербурге» – для Пушкина не сливаются с салонами злобной сплетницы Марии Нессельроде или покровительницы Данте-са Софи Бобринской, с балами в Аничковом дворце.

Жажды полноты бытия, беспокойного счастья и желание покоя и воли не исключали, а дополняли для Пушкина идеал существования, исполненного творческого напряжения. Когда Пушкин думал о светской жизни, не исключающей, а дополняющей «независимость семейственную», перед его глазами вставали те кружки, в которых сохранились отсветы духовной жизни декабристской эпохи.

После разгрома декабристского движения дух свободомыслия в наибольшей мере хранили женщины. Мужчина николаевской эпохи, запугиваемый жандармами, замуштрованный на службе, развращаемый духом чинопочитания, в гораздо большей мере был подвержен уродующему влиянию государственной машины. Дворянская женщина была в значительной степени вне этого мира. В семьях с культурной традицией выработался тип гордой и независимой, свободолюбивой, тонко чувствующей и образованной женщины. Светский круг так и женщин, хранящих дух их братьев и друзей детства, загнанных Николаем в сибирские рудники, не разрушал мира независимости семейственной. Наталью Николаевну затягивало другое светское общество – то, которое связано было с официальным лицом николаевской монархии. Здесь Пушкин был предметом враждебного любопытства, а жена его – объектом лицемерной жалости и ядовитых сплетен. Рабы не любят независимости в других людях. Пушкин, позволявший себе осуждать действия правительства и, более того, иметь собственное мнение, Пушкин, который всем своим видом и поведением упразднял разницу между камер-юнкером и вельможами любых чинов и степеней, Пушкин, с которым почтительно беседовали иностранные дипломаты, уже знавшие о его европейской славе и ценившие не чин, а глубину политических познаний и с изумлением видевшие в нем ум государ-

ственного человека, – этот Пушкин вызывал у них зависть и ненависть.

Одновременно усложнились отношения Пушкина и с правительственный бюрократией. Среди наиболее непримиримых врагов поэта в середине 1830-х годов должен быть назван министр народного просвещения С. С. Уваров. Личность Уварова примечательна, и конфликт его с Пушкиным не был случайным.

С. С. Уваров, видный государственный деятель николаевской эпохи, автор печально знаменитой формулы «самодержавие, православие, народность», был человеком больших способностей и блестящего, хотя и неглубокого образования. В молодости он приклонил к литературному лагерю карамзинистов и сделался одним из основателей и вдохновителей «Арзамаса». Дружба Карамзина, Жуковского, А. И. Тургенева и умение высказывать свои мнения с большимaplомбом доставили ему славу выдающегося критика и знатока литературы. В 1810-е годы определенная группа карамзинистов была близка к «либеральной» правительственный бюрократии и быстро делала карьеру. Блудов, Дашков, братья Тургеневы, Северин, Жуковский занимали ответственные государственные, дипломатические и придворные посты. Грибоедов, насмешливо относившийся к карамзинистам, в образе Молчалина прозорливо показал, что сентиментальность, романтическая мечтательность, игра на флейте и платонические романы с дочерьми вельмож могут прекрасно сочетаться с карьеризмом, душевной черствостью и бюрократическим бездущием. Есть основания полагать, что в характеристику Молчалина вошли портретные черты Уварова.

Уваров был беден и незнатен. Однако он сумел втереться в дом ministra просвещения А. К. Разумовского и, разыграв сентиментальный роман, жениться на его дочери, некрасивой, но очень богатой, которая была старше жениха и уже потеряла надежду на брак. Благодаря женитьбе Уваров быстро пошел в гору: тридцати двух лет от роду и будучи лишь одаренным дилетантом, он сделался президентом Академии наук. Молчалинские черты

его характера уже в эту пору коробили его арзамасских товарищей; А. И. Тургенев писал Вяземскому, касаясь службы Уварова по министерству финансов (как и многие преуспевающие бюрократы той поры, Уваров занимал сразу несколько мест): Уваров «всех кормилиц у Канкрина знает и дает детям кашку»<sup>1</sup>.

Решающим в судьбе карамзинистов стал 1825 год. Если большинство из них оказалось в той или иной мере оппозиционными новому режиму, то Блудов и Уваров резко перешли на сторону победителей и приняли активное участие в следствии над своими вчерашними приятелями-декабристами и в активном идеологическом оформлении нового режима.

Яркую характеристику Уварову дал историк С. М. Соловьев: «Уваров был человек, бесспорно, с блестящими дарованиями (...), но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Уваров не имел в себе ничего чисто аристократического; напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце своем слугою; он не щадил никаких средств, чтобы угодить барину (Николаю I); он внушал ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах: православие, самодержавие, народность; православие – будучи безбожником, самодержавие – будучи либералом, народность – не прочитав в свою жизнь ни одной русской книги». Далее тот же автор писал, «что не было ни одной низости, которой он не был в состоянии сделать»<sup>2</sup>.

Ренегаты всегда усердствуют сверх меры. Бывший либерал, Уваров давал понять Николаю I, что меры, принимаемые Бенкендорфом для обуздания литературы, недостаточны. Так, именно он, преодолевая сопротивление Бенкендорфа, недовольство вмешательством в «его» сферу, сумел добиться запрещения «Московского телеграфа» Полевого. Соперничество

<sup>1</sup> Остафьевский архив кн. Вяземских, т. III. СПб., 1889, с. 33; Канкрин – министр финансов.

<sup>2</sup> Соловьев С. М. Записки, 1915, с. 58–59.

между Уваровым и Бенкендорфом – между ведомствами идеиного руководства и полицейского надзора за литературой – необходимо учитывать для понимания одного из самых острых конфликтов Пушкина с правительством в середине 1830-х годов.

Уваров хотел в начале 1830-х годов использовать в своих карьерных комбинациях огромный авторитет Пушкина. В 1831 году он усиленно напрашивался на роль покровителя Пушкина: поторопился перевести на французский язык стихотворение «Клеветникам России» и пытался разыграть роль посредника между Пушкиным и Бенкендорфом. Он искренне не понимал, что благородство, человеческое достоинство и стремление к независимости *существуют*, и видел в Пушкине набивающего себе цену честолюбца, с которым можно будет говориться. Он обещал Пушкину «первое свободное место» в Российской академии и, прия с ним в аудиторию Московского университета, представил его студентам заранее обдуманной льстивой фразой.

Когда Пушкин холодно оттолкнул все попытки сближения и презрительно отстранился от Уварова, злобе последнего не было предела. Уваров начал кампанию светской клеветы против Пушкина, утверждая в салонах, что одобренная царем и печатавшаяся в типографии III отделения при содействии Бенкендорфа (через которого Пушкин испросил у правительства кредит на это издание) «История Пугачева» – произведение вредное и опасное. Пушкин записал в дневнике в феврале 1835 года: «Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении» (XII, 337). Одновременно он стал утеснять Пушкина по служебной линии. С 1826 года цензирование произведений Пушкина,名义ально осуществлявшееся царем, фактически производилось в ведомстве Бенкендорфа, минуя обычную цензуру. Как ни странно, это было некоторым облегчением: Бенкендорф был хозяином, а цензоры – лакеями хозяина. Их систематически терроризировали, увольняли от должности (а это были, как правило, люди небогатые и дорожившие службой) и даже сажали под арест за малейший промах. А поскольку точного положения о цензуре не было

и никто толком не знал, что разрешено, а что нет («Московский телеграф», например, был запрещен за статью, прошедшую цензуру), то гнет цензурного устава помножался на трусость цензоров. Уваров добился, чтобы журнал Пушкина «Современник» проходил кроме цензуры Бенкendorфа еще и обычную, и сознательно давал Пушкину наиболее глупых и трусливых цензоров. Положение Пушкина как литератора делалось невыносимым: Уваров медленно и систематически затягивал на его горле петлю.

Однако Пушкин умел постоять за себя. Недаром он любил Ломоносова за то, что «с ним шутить было накладно». Он ответил Уварову блестящим ударом, молниеносным, как выпад шпаги, и резким, как пощечина. Пушкин воспользовался скандальной историей, получившей в это время шумную огласку: известный богач Шереметьев, не имевший прямых наследников, опасно заболел, и Уваров, который был мужем его двоюродной сестры и мог рассчитывать на получение наследства, с неприличной торопливостью начал прибирать имущество Шереметьева к рукам. Однако Шереметьев выздоровел. Уваров оказался в конфузном положении. В сентябре 1835 года в журнале «Московский наблюдатель» появилось стихотворение Пушкина «На выздоровление Лукулла» с подзаголовком «подражание латинскому», который никого не вводил в заблуждение, а только оттенял злую иронию текста.

В духе горацианской сатиры, блестяще имитируя стиль латинского поэта, Пушкин описал болезнь молодого богача и нарисовал отвратительный образ алчного наследника. Умело введя в его характеристику скандальные черты биографии Уварова, Пушкин достиг большого комического эффекта, соединив «кримский» колорит повествования с реалиями из биографии Уварова, размышляющего над ожидаемым наследством:

«Теперь уж у вельмож  
Не стану нянчить ребятишек...  
Жену обсчитывать не буду,  
И воровать уже забуду  
Казенные дрова!»

Стихотворение произвело желаемый эффект. Цензор Никитенко записал в дневнике: «Пьеса наделала много шума в городе. Все узнают в ней, как нельзя лучше, Уварова»<sup>1</sup>. Пушкин вынужден был давать объяснения Бенкendorфу. Он использовал и эту возможность, с ядовитым простодушием недоумевая, как Уваров мог принять на свой счет портрет «низкого скупца, негодяя, ворующего казенные дрова, подающего жене фальшивые счета, подхалима, ставшего нянькой в домах знатных вельмож» (*XVI*, 251). В глазах общества Уваров был опозорен. Он платил Пушкину безграничной ненавистью и ядовитыми сплетнями.

Ко всем перечисленным неприятностям, огорчениям и заботам на протяжении всех 1830-х годов прибавлялась еще одна — нехватка денег. Содержание семьи, светская жизнь, к которой Пушкин был прикован против воли, материальная помощь родителям, сестре и совершенно безответственному в денежных вопросах брату требовали денег, денег и денег. У Пушкина их не было. Тягостные размышления о том, что в случае его внезапной смерти дети останутся без средств, все чаще мелькают в письмах к жене. Пушкин рассчитывал поправить свои денежные дела изданием «Истории Пугачева» и занял у правительства 10 тысяч. Издание не оправдало его финансовых расчетов, а долг остался. В дальнейшем ему пришлось снова просить у Николая I ссуду в счет будущего жалования. В 1836 году, по его собственному исчислению в письме министру финансов Канкрину, долг правительству исчислялся огромной суммой в 45 000 рублей. Долг бесповоротно привязывал Пушкина ко двору, службе и Петербургу. А денег все равно не было. Без новых литературных трудов не было надежд на выход из денежных затруднений, а петербургская суeta не давала возможности сосредоточиться и обрести «покой и волю», без которых такой труд был невозможен. Осенью 1835 года, в свое любимое рабочее время, он вырвался в Михайловское, чтобы «наработать

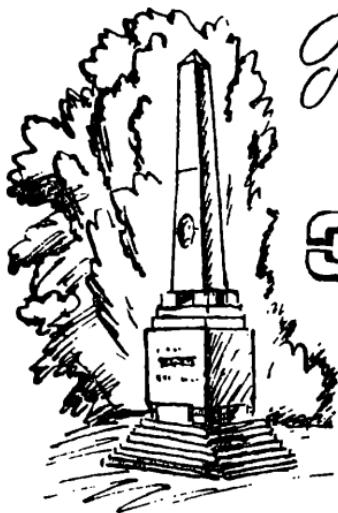
<sup>1</sup> Пьеса (или пиеса) — здесь: всякое отдельное произведение, не только драматическое.

денег». Оттуда он писал жене: «Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закружится. А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет?» (*XVI*, 48).

Тяжелому настроению Пушкина способствовало то, что он чувствовал потерю контакта с читателями. Читатель демократизировался, и многолетняя кампания в журналах, объявлявшая Пушкина аристократом, давала свои плоды. Этому способствовало известие о камер-юнкерстве Пушкина, подлинные обстоятельства которого массе публики были неизвестны. Пушкин получил неподписанный пасквиль, обвинявший его в предательстве идеалов молодости и раболепии перед властями.

Пушкину было тяжело.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "А.С.Пушкин".



## Глава Девятая ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Зная условия, в которых находился Пушкин в последние годы, легко представить себе его усталым, замученным, павшим духом. Усталость действительно сквозит в его письмах этих лет. Растерянным и упавшим духом его рисуют свидетельства некоторых современников. Они справедливы, поскольку отражают непосредственные впечатления очевидцев, имевших возможность, которой мы бесповоротно лишены, — возможность видеть Пушкина. Они несправедливы, поскольку не согласуются с тем, чего современники не могли, в отличие от нас, знать. Так, современники считали, что Пушкин забросил творческий труд и, если работает, то только над поденной журнальной прозой, стремясь заработать деньги. Только смерть, открывшая, сначала для узкого круга лиц, рукописи Пушкина, показала, как несправедливы были эти представления. Даже такие близкие к Пушкину люди, как Баратынский, должны были сознаться, что внутренняя жизнь Пушкина последних лет была от них скрыта. В письме жене Баратынский сообщал как об удивительном открытии, которое он сделал, «разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина» (в 1840 году Баратынский посетил Жуковского, разбиравшего пушкинские рукописи): «Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом и формою. Все последние пьесы отличаются — чем бы ты думала? — силою и глубиною! Он только что созревал»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Гофман М. Л. Баратынский о Пушкине. — «Пушкин и его современники», вып. XVI. СПб., 1913, с. 152.

Посторонние наблюдатели видели Пушкина на надоевших ему балах, где он, по собственному выражению, был «обязан «дремать да жрать мороженое», в литературных беседах, раздражавших его тупостью собеседников, в денежных заботах или в жару литературных столкновений. Но никто не видал его, когда он сидел, по его собственным словам, один «между четырех стен» или ходил по лесам, и никто не мешал ему «думатель, думатель до того, что голова закружится». А между тем именно здесь развертывалась его подлинная жизнь. Творческая жизнь Пушкина в эти тяжелые для него годы не несла никаких следов спада или душевной подавленности. Часто встречавшийся с Пушкиным А. И. Тургенев писал 21 декабря 1836 года в одном из писем: «Он полон идей»<sup>1</sup>. А ведь это был один из самых драматических моментов в жизни поэта: это было время, когда Пушкин вызывал Дантеса первый раз на дуэль, а Данте, чтобы избежать ее (как считал Пушкин), или по приказу Николая I (есть и такая версия), сделал предложение сестре Натальи Николаевны Екатерине. 4 ноября 1836 года Данте сделал предложение, а 10 января 1837 года состоялась свадьба. Легко представить себе, какие бури кипели в душе Пушкина в эти дни. И все же именно в это время он был «полон идей». Работа творческой мысли не останавливалась ни на минуту. Она наполняла все существование Пушкина высоким смыслом и давала ему удивительную душевную силу. Жизнь пыталась его сломить — он преображал ее в своей душе в мир, проникнутый драматизмом и гармонией и освещенный мудрой ясностью авторского взгляда. Только восстановив день за днем полную трагизма и безысходности реальность пушкинского существования последних лет, можно оценить в полной мере ясность, простоту и спокойствие его творчества этих лет.

«Покоя и воли» не было; казалось, что все было против Пушкина, но напор творческой энергии был сильнее внешних обстоятельств и преображал их.

<sup>1</sup> «Московский пушкинист», вып. 1. М., 1927, с. 24.

В трудные для Пушкина 1833 – 1836 годы творчество его достигает предельной интенсивности. Он создает поэмы «Анджело», «Медный всадник» (1833), лучшие свои прозаические произведения: «Дубровский» (1832 – 1833), «Пиковая дама» (1833), «Египетские ночи» (1835), «Капитанская дочка» (1833 – 1836), самые значительные лирические стихотворения: «Осень» (1833), «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (1834), «Песни западных славян» (1834), «Полководец», «Вновь я посетил...», «Пир Петра Первого», «Когда владыка ассирийский...» (1835), «Мирская власть», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836). В 1836 году он начал издавать журнал «Современник», критический отдел которого в значительной мере заполнялся его статьями. Исключительно интенсивной была работа Пушкина как историка: он написал «Историю Пугачева», работал над историей Петра I (этот труд был для него особенно важным: когда Пушкин подал просьбу об отставке с твердым намерением порвать с Петербургом и уехать в деревню, достаточно было Николаю I пригрозить, что он закроет ему доступ в архивы и тем сделает продолжение исследования невозможным, как Пушкин тотчас же взял просьбу обратно – все страдания петербургской жизни отступали на второй план перед потерей возможности продолжать этот труд).

Однако напряжение творческой мысли проявлялось не только в количестве написанного, но и в быстроте мысли. В периоды творческого подъема, в минуты, когда «мысли в голове волнуются в отваге», сознание Пушкина работало с баснословной скоростью. В эти периоды замыслы сменились новыми замыслами, мысль обгоняла возможность воплощения. Памятниками таких напряженных полос творческой жизни оставались планы, наброски, замыслы обширных трудов и незавершенные произведения. Они не оканчивались, потому что творческая мысль спешила дальше, оставляя их позади, как недостроенные дворцы, создатель которых увлечен новыми, более грандиозными планами.

По количеству и размаху незавершенных трудов можно судить о том вдохновенном напряжении, в котором Пушкин находился в эти годы. Им владеет мысль о большом романе со сложным приключенческим сюжетом, позволяющим показать разные слои русского общества, — задуман «Роман на кавказских водах», произведение, которое, возможно, предвосхитило бы «Героя нашего времени». В 1834—1836 годах он обдумывает большой авантюрно-психологический роман (рабочее черновое название «Русский Пелам»), где должна была быть показана вся Россия — от декабристского Союза Благоденствия до притонов лесных разбойников. Одновременно он начинает повесть из римской жизни (возможно, этот загадочный замысел следует связать с давним замыслом написать произведение о Христе). Пушкина интересовали судьбы европейской цивилизации: он читал французских историков, открывших в прошлом Европы эпохи феодализма классовую борьбу и корни французской революции XVIII в., сам хотел написать историю французской революции и начал два произведения, которые должны были охватить буржуазную эпоху от ее истоков до современности. Первое — сцены из большой исторической драмы (после смерти Пушкина были опубликованы под названием «Сцены из рыцарских времен»), которые потом Чернышевский считал лучшим созданием Пушкина. Второе — повесть «Марья Шоннинг» — трагическая история нищеты и унижения. В это же время он работал над драмой из русской народной жизни «Русалка». Замыслы буквально переполняли его, и он щедро делился ими. Так, он набросал план комедии о человеке, которого приняли в провинции за важного чиновника, и уступил его Гоголю. Гоголь написал «Ревизора». Потом он уступил Гоголю замысел «Мертвых душ».

Этот обширный — и не исчерпанный в нашем перечне — список задуманного, начатого, обдумываемого, отложенного, оставленного для новых нахлынувших работ свидетельствует о творческом подъеме Пушкина-художника в эти годы. И, конечно, старая романтическая идея, согласно которой в душе поэта живут два прямо противоположных один

другому человека: погруженный в обычную жизнь и подавленный ею «обычный» человек и парящий над бытом гений, — ничего не объяснит нам в душевной жизни Пушкина. Нет, Пушкин был человек в поэзии и поэт в жизни.

Современная археология знает такой метод: аэро- наблюдение и аэрофотосъемку. При этом с объектами, которые археолог наблюдал и исследовал с земли, порой происходит чудесное превращение: то, что при наземном взгляде казалось беспорядочной грудой камней или остатками разбросанных, не связанных между собой зданий, вдруг предстает частями единого плана, приобретает ритм и смысл единого замысла.

Рассматривая завершенные и незавершенные труды Пушкина последних трех лет его жизни, мы поражаемся, с одной стороны, их богатству, а с другой — разнообразию и даже, как может показаться, пестроте. Трудно связать воедино драму из народной жизни «Русалка» и начало авантюрно-фантастической поэмы из испанской жизни на сюжет романа Я. Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагоссе» (отрывок «Альфонс садится на коня...») или сцены из жизни западноевропейского средневековья и современный роман, действие которого развертывается на Кавказе. Однако стоит применить метод «аэрофотосъемки», и все эти разрозненные фрагменты складываются в единство, объединяясь общим обдуманным планом. Это грандиозная картина мировой цивилизации как некоего единого потока. Пушкина интересуют моменты исторических катаклизмов, трагических конфликтов, через которые властно пробивает себе путь идея гуманности. Прогресс мыслится как очеловечение истории, торжество культурного и духовного начал над насилием и грубой материальностью власти.

Идея историзма занимала Пушкина еще с середины 1820-х годов. Но тогда история как носитель прогрессивного начала воплощалась в государственности и идеальном ее представителе Петре I. Притязания отдельной личности на счастье и самостоятельное от истории бытие казались романтическим эгоизмом и безусловно отвергались. В «Полтаве» и добрые герои, как Кочубей и Искра, и злодеи

вроде Мазепы обречены историей на забвение, ибо все они руководствовались личными, человеческими побуждениями:

Прошло сто лет, и что осталось  
От сильных, гордых сих мужей?

История сохраняет память лишь о тех, кто без остатка сливают себя с нею. Исчезая как отдельная личность, они обретают историческое бессмертие:

В гражданстве северной державы,  
В ее воинственной судьбе,  
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,  
Огромный памятник себе.

Сейчас история мыслится Пушкиным не как нечто противоположное личности, а как живая цепь живых человеческих жизней. История – это поколение простых, «неисторических» личностей, это цепочка, в которой могилы предков, хоровод взявшихся за руки живых и колыбели детей составляют единый круг бессмертия. Прогресс заключается в накоплении памяти человечества, то есть культуры, и в духовном росте отдельного человека. Отсюда интерес позднего Пушкина к истории, которая проявляется в дневниках частных людей, эпизодах живой жизни различных эпох. Он собирает исторические анекдоты из русской жизни XVIII века, ведет дневник, создавая бытовую хронику придворной и петербургской жизни. Пафос культуры во всем богатстве ее исторического существования и пафос духовной значительности отдельного человека объединяют разнообразные замыслы последнего периода.

Гордое сознание того, что не власть и сила, а дух и культура дают бессмертие, продиктовало Пушкину стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», ставшее его поэтическим завещанием<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Свод данных об изучении этого стихотворения и истолкование текста см.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...», проблемы его изучения. Л., 1967

В творчестве Пушкина 1830-х годов переплетаются две основные темы: тема Петра I и тема крестьянского бунта. В их сложном взаимодействии раскрывается своеобразие пушкинского взгляда на историю. Тема крестьянского восстания появляется в черновых набросках «Истории села Горюхина» и делается центральным объектом художественного внимания в повести «Дубровский».

Развивая идеи дворянской революционности, Пушкин полагал, что передовой дворянин является естественным союзником народа, а русское дворянство, теряющее с каждым десятилетием свои социальные привилегии, но хранящее вековой опыт сопротивления самодержавию, — сила революционная по своей природе. В 1834 году он записал в дневнике о русском дворянстве: «Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (*XII*, 335). Правительство опирается на выскочек и фаворитов, псевдоаристократию, «жадною толпой стоящую у трона» (Лермонтов), а также на безликую бюрократическую машину. Столбовой дворянин, потомок древнего рода, Дубровский становится народным предводителем, а Троекуров — родственник кн. Дашковой — подруги Екатерины II и соучастницы заговора 1762 года — «пошел в гору» (*VIII*, 1, 162). От Екатерины II, узурпировавшей власть, через Дашкову, к помещику-самодуру и к шабашкиным протягивается единая цепь.

Замысел о дворянине, перешедшем на сторону народа, был сначала положен и в основу романа из эпохи Пугачева. Однако чем ближе подходил Пушкин к разработке этого плана, тем более убеждался в невозможности такого союза.

Мысль о неизбежности и исторической оправданности непримиримой борьбы враждебных общественных сил, которая отныне кладется в основу замыслов, посвященных истории («Капитанская дочка», «Сцены из рыцарских времен»), дополняется той гуманностью, в которой Белинский видел истинный пафос творчества Пушкина. Как человечность, вторгаясь в мир безжалостных социальных кон-

фликтов, позволяет героям «Капитанской дочки» возвыситься над «жестоким веком», так историческая безжалостность преобразовательной деятельности Петра I становится в «Медном всаднике» страшным упреком всему делу преобразования. Раскрывая пафос Пушкина, Белинский писал: «Нравственное образование делает нас просто «человеком», т. е. существом, отражающим на себе отблеск божественности и потому высоко стоящим над миром животным. Хорошо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и проч., но худо не быть при этом «человеком»; быть же «человеком» — значит иметь полное и законное право на существование и не будучи ничем другим, как только «человеком»<sup>1</sup>.

В этом пафосе получает объяснение и стремление Пушкина к демонстративно «простым» героям (задачей исторического романа становится изображение судеб «простого человека» в трагических обстоятельствах исторических конфликтов), составлявшее одну из существенных граней пушкинского реализма:

Скажите: *экай вздор*, иль *bravo*  
Иль не скажите ничего —  
Я в том стою — имел я право  
Избрать соседа моего  
В герои повести смиренной,  
Хоть человек он не военный  
Не [второклассный] Д.⟨он⟩ Жуан,  
Не демон — даже не цыган,  
А просто гражданин столичный,  
Каких встречаем всюду тьму... (*V*, 103).

Творческая позиция связывалась с жизненной психологией. Мысль о том, что человек, по мнению Белинского, имеет «полное и законное право на существование и не будучи ничем другим, как только «человеком», определяла поэзию частного существования, «покоя и воли», которая становилась для Пушкина не только творческой, но и человеческой программой.

Однако в это же время, нарастая, в жизни Пушкина начали звучать трагические ноты. Причин было много, и все они сводились к одной. Та

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 391.

кипучая, наполненная разнообразными интересами, полная игры и творчества жизнь, которая была необходима Пушкину, требовала столь же «играющей», искрящейся и творческой среды и эпохи. Гениальная личность, включенная в подвижную, полную неисчерпаемых возможностей ситуацию, умножает свое богатство, обретая все новые и новые, неожиданные грани жизни. Бытие превращается в творчество, а человек получает от жизни радость художника. Творческое сверкание пушкинской личности не встречало отклика в среде и эпохе. В этих условиях новые связи превращались в новые цепи, каждая ситуация не умножала, а отнимала свободу, человек не плыл в кипящем море, а барахтался в застывающем цементе. Пушкин не был способен застыть в том «неучастии», которое в этих условиях единственно могло помочь сохранить хотя бы остатки внутренней свободы и которое сделалось невольным уделом М. Орлова или Чадаева после объявления его сумасшедшими. Между тем собственная его активность лишь умножала тягостные связи, отнимала «отделенность» его от того мира, в котором он не находил ни счастья, ни покоя, ни воли. Попытки принять участие в исторической жизни эпохи оборачивались унизительными и бесплодными беседами, выговорами, головомойками, которые ему учиняли царь и Бенкendorf, поэзия — объяснениями с цензорами, борьбой за слова и мысли, литературная жизнь — литературными перебранками, неизбежными контактами с глупыми и подлыми «коллегами», растущим непониманием со стороны читателей, светские развлечения — сплетнями, клеветой. Даже семейная жизнь, столь важная для Пушкина, имела свою стереотипную, застывшую изнанку: денежные затруднения, ревность, взаимное отчуждение.

Пушкин по глубоким свойствам своей личности не мог создавать себе отгороженный, малый, *свой* мир. Он вступал в безнадежную и героическую борьбу с окружающим миром, пытаясь его одухотворить, расшевелить, передать ему свою жизненность, — и вновь и вновь встречал не горячее рукопожатие, а холодную руку мертвеца. Отсюда два

противоположных стремления: найти еще новое поприще, новых людей («новые созреют нам друзья»), новые связи, и — «плюнуть да бежать» (III, 1, 422) — выйти в отставку и уехать в деревню с женой и детьми или даже уехать от жены и детей — в Оренбургскую степь, в Болдино, в дорогу.

Тема крестьянского восстания давно уже занимала Пушкина, и в конце лета 1833 года он добился разрешения на четырехмесячную поездку по местам пугачевского восстания — Оренбургской и Казанской губерниям. Желание вырваться из Петербурга, видимо, также играло при этом немалую роль: Пушкин то лелеял планы покупки дома с клочком земли между Михайловским и Тригорским (и даже вступил при посредстве Осиповой в соответствующие переговоры), то собирался съездить к Е. А. Карамзиной в Дерпт (Тарту). Последний проект зашел настолько далеко, что было получено уже разрешение Николая I, и неожиданная смена намерений — возникновение плана ехать не в Дерпт, а на Урал — вызвала даже недоуменный вопрос Николая I.

Пушкин изъездил места восстания Пугачева, собирая данные и опрашивая еще живых стариков свидетелей. Затем заехал в Болдино. Здесь он работал над «Историей Пугачева», «Медным всадником», «Анджело», «Сказкой о рыбаке и рыбке» и «Сказкой о мертвый царевне...».

20 октября Пушкин вернулся в Петербург.

«История Пугачева» была закончена. Надо было ее печатать. На издание книги Пушкин возлагал большие надежды. Это было не только первое научное исследование, посвященное «русскому бунту», — волнения крестьян и военных поселенцев в 1830 году снова обострили вопрос о крепостном праве. Определенные правительственные круги склонны были возобновить вопрос о крестьянской реформе. Однако даже обсуждение проблемы вызывало сильное противодействие со стороны консервативных кругов — книга Пушкина была грозным напоминанием о том, что история отсчитывает часы. Необходимо было получить разрешение на печатание. Пушкин направил рукопись через Бенкendorфа царю, при-

ложив к ней, специально для Николая I, краткий, не предназначенный для печати анализ поведения различных общественных групп во время пугачевского возмущения. В разделе «Общие замечания» Пушкин дал исключительный по глубине и проницательности социологический анализ, указав, что «весь черный народ был за Пугачева», а «дворянство было открытым образом на стороне правительства», поскольку «интересы», «выгоды» дворян и народа «были слишком противоположны» (IX, 1, 375). В точности этого социологического анализа сказалось и прекрасное знание Пушкиным исторического материала, и размышления о роли «интересов» в социальной борьбе, навеянные чтением историков эпохи реставрации Гизо и Менье, размышлениями над общим ходом русской и мировой истории. Если вспомнить, что еще недавно Пушкину казалось, что передовой дворянин, носитель исторической традиции свободолюбия, Дубровский, – естественный союзник народа, то сделается очевидным и развитие пушкинской мысли, и неутешительность его вывода относительно перспектив «русского бунта». Сложность положения усугублялась тем, что сомнения в возможности союза передового дворянства и бунтующего народа сочетались с растущим чувством отчуждения от власти. И исторические надежды на «нового Петра», и собственные личночеловеческие отношения с правительством вступили в критическую стадию.

Не менее сложными сделались и литературные отношения: запрещение «Литературной газеты», смерть Дельвига развеяли последние остатки литературной атмосферы, царившей до 14 декабря. Решительно изменился самый дух литературы.

Пушкин достиг вершины творчества. Одновременно росла его человеческая значительность. К блеску, остроумию, обаянию гениальности прибавилась глубина, та свобода и значительность, которая дается только богатством внутренней жизни. Силе приличествует спокойствие – Пушкин сознавал



## Рукопись Пушкина с рисунками. 1829.

свою силу. На закладке, вложенной в один из томов его библиотеки, он написал:

Воды глубокие  
Плавно текут.  
Люди премудрые  
Тихо живут (*III*, 1, 471).

Но, сознавая себя глубоким потоком, он еще чувствовал в себе и силу, и способность к новым волнениям и бурям. В неоконченном стихотворном наброске он писал:

... дней моих поток, так долго мутный,  
Теперь утих —

и тут же прервал себя вопросом: «Надолго ли?» (*III*, 1, 329). Это была зрелость — точка равновесия между еще не ушедшей молодостью и наступающим временем опыта. Мудрость.

В творчестве она определялась словом «реализм». Надо было найти соответствие творческим принципам в быту и жизни — реализм каждого дня поведения.

Романтизм, открытый поэтическими гениями начала XIX в., опошился и превратился в разменную монету. Все петербургские чиновники, молодые купчики, юные армейские поручики и недочувившиеся студенты были романтиками. В ноябре 1835 года Пушкин получил письмо от некоего Никанора Иванова, который сообщил ему, что «он ожесточил свое сердце, омрачил ум сомнениями, юность, драгоценный перл жизни, запятнал пороками, ожесточением и преступлениями — и пал, как ангел, отторгнутый толпою демонов от светлого неба». Никанор Иванов сравнивал себя с Прометеем, а Пушкина, перейдя на «ты», называл «собрат мой по скорбной, печальной жизни». Все это заканчивалось просьбой «денежного пособия, не превышающего 550 рублей» (*XVI*, 59–61), — по тем временам суммы очень значительной.

Опошлиенной романтической фразе и романтической позе Пушкин противопоставил честную правду — в жизни, как и в искусстве. В одной из рецензий, написанных в 1836 году, он спрашивал любителей романтической фразеологии, что значит

быть «прозаическим»: «Спокойным, умным, рас- судительным? так ли?» (XII, 93). Идеал практической жизни, той жизни, которую Пушкин старался создать вокруг себя, был богат и сложен. В нем совмещались тенденции, которые уже в следующем поколении разошлись настолько, что сделались несовместимыми. Он включал свободу и независимость, жизнь в семье и деревне. Но этот же идеал подразумевал общественную активность, участие в литературной жизни, деятельность и поэта, и историка, и журналиста.

Как историк Пушкин стремился сохранить ту спокойную веру в истину, не затемненную никакими предвзятыми идеями, которую он считал необходимой и для драматурга: «Что нужно драматическому писателю? Философию, беспристрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. *Свобода*» (XI, 419). Как журналист он хотел быть погруженным в «злобу дня», любил полемику. Еще в 1825 году он из Михайловского писал Плетневу: «Брат Плетнев! не пиши добрых критик! Будь зубаст...» (XIII, 154). И позиции историка, и роль журналиста выдвигали, однако, общее требование, общую психологическую установку: не ссориться с жизнью, не оскорбленно отворачиваться от нее, как это делали романтики, а — с любопытством, с ужасом, с надеждой — пристально в нееглядываться. Психология жизненного реализма требовала принимать, в частности, что читающая публика сделалась многочисленнее, что денежные отношения проникли в литературу и журналистику, превращая их в профессию и даже средство обогащения. Пушкин не боялся наступающего века и имел смелость употреблять такое выражение, как «торговая спекуляция», не только в отрицательном, но и в положительном значении, бросая вызов романтикам, проклинавшим наступление «железного века» практицизма. В исключительно важной, написанной в последние месяцы жизни рецензии на перевод французским писателем Шатобрианом поэмы английского поэта Мильтона «Потерянный рай», Пушкин писал: «Перевод «Потерян-

ного рая» есть торговая спекуляция. Первый из современных французских писателей, учитель всего пишущего поколения, бывший некогда первым министром, несколько раз посланником, Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба. Каково бы ни было исполнение труда им предпринятого, но самый сей труд и цель оного делают честь знаменитому старцу. Тот, кто, поторговавшись немного с самим собою, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властию, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты пэров, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестию» (XII, 144 – 145). Слова «с продажной рукописью, но с неподкупной совестью» могли бы быть написаны на знамени Пушкина-журналиста, создателя журнала «Современник», ставшего лучшим русским журналом, которому после смерти поэта было предназначено славное место в истории русской общественной жизни.

В 1834 году в Петербурге начала выходить «Библиотека для чтения» – ежемесячный журнал, издаваемый на деньги книгоиздателя А. Ф. Смирдина О. И. Сенковским. «Библиотека для чтения», к участию в которой был приглашен широкий круг лучших русских писателей (в том числе и Пушкин), широко применяла рекламу, платила авторам неслыханные в России гонорары, выходила точно в предусмотренные сроки, быстро завоевала читательское признание и стала самым массовым русским журналом. Однако Сенковский, подходя к журналу как к доходному предприятию буржуазного типа, скоро восстановил против себя передовых литераторов беспринципностью, ориентацией на отсталого читателя. Журнальный союз, заключенный Сенковским с Булгариным и Гречем, окончательно оттолкнул от него талантливых писателей любых направлений. Возникший в 1835 году журнал «Московский наблюдатель» (издателями были литераторы, когда-то связанные с «Московским

вестником»), хотя и ставил перед собой задачу борьбы с Сенковским, но справиться с ней не мог: узкая романтико-аристократическая позиция издателей не позволяла журналу серьезно конкурировать с бойкой, развязной и чуткой к потребностям читателя «Библиотекой».

В этих условиях Пушкин добился разрешения на издание своего журнала. Журнал назывался «Современник». Он начал выходить в 1836 году с периодичностью 4 книжки в год. Самое ближайшее участие в издании принял Гоголь, быстро сблизившийся в эти годы с Пушкиным.

С самого начала Пушкин столкнулся с тяжелыми ограничениями: журнал должен был исключить всякую политическую информацию из своей программы, что заведомо ставило его в трудные конкурентные условия, количество номеров было ограничено — «Современник» фактически был не журналом, а трехмесячным альманахом, что практически исключало для него участие в злободневной литературной полемике. Крайне трудными были цензурные условия: журналу был дан один из самых тупых и трусливых цензоров, А. Крылов, а вскоре Пушкина обязали получать также визы военной и духовной цензуры. Пушкин писал Д. Давыдову: «Тяжело, нечего сказать. И с одной ценсурою напляшешься; каково же зависеть от целых четырех?» (XVI, 160)<sup>1</sup>.

И все же журнал был для Пушкина дорогим и важным начинанием; отправляясь на дуэль, он думал о следующем журнальном номере: заказывал статьи, назначал свидания с авторами. Пушкин взял на себя не только общее руководство, но и всю организационно-техническую и финансовую сторону «Современника», фактически был единоличным хозяином и главой этого издания. Пушкин смотрел на себя как на главу русской литературы, чувствовал личную ответственность за ее будущее, а в журнале видел средство осуществления своего влияния на развитие словесности в России.

<sup>1</sup> Журнал Пушкина проходил общую, духовную (церковную), военную цензуру и цензуру министерства дворца, а также просматривался Бенкendorфом.

**СОВРЕМЕННИКЪ,**  
**ЛИТТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,**  
ИЗДАВАЕМЫЙ  
**АЛЕКСАНДРОМЪ ПУШКИНЫМЪ.**

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.  
1836.

«Современник».  
Обложка издававшегося Пушкиным журнала.

Журнал Пушкина отличался свободной независимостью мнений, хотя и уклонялся от прямой полемики, исключительной художественной зрелостью помещаемых там произведений (там были опубликованы «Капитанская дочка», «Путешествие в Арзрум», «Пир Петра Великого», «Скупой рыцарь», «Родословная моего героя», «Полководец» и др. произведения Пушкина, «Нос», «Коляска», «Утро делового человека» Гоголя, стихотворения Тютчева, Жуковского, Баратынского, Вяземского, Кольцова), широтой и разнообразием научного материала. Характерна ориентация Пушкина на молодые литературные силы: в «Современнике» была опубликована программа-

ная статья Гоголя «О движении журнальной литературы», а в последние месяцы жизни Пушкин начал (тайком от старых литературных друзей) переговоры о привлечении к работе в журнале Белинского — тогда еще молодого и малоизвестного критика, к тому же весьма холодно отзывавшегося о «Современнике» в печати.

Пушкин был полон энергии и исторического оптимизма — журнал не случайно назывался «Современник». Борясь с «Библиотекой для чтения», Пушкин учитывал ее опыт: установил высокие гонорары, стремился к точности выполнения обязательства перед подписчиками. Однако журнал не имел успеха: количество подписчиков колебалось между 600—700 (при тираже «Библиотеки для чтения» 5000 и многотысячном тираже «Северной пчелы»). Разрыв Пушкина с читателем углублялся. Даже Белинский — страстный поклонник его таланта, написавший в дальнейшем замечательный цикл статей о Пушкине, в 1834 году утверждал: «Тридцатым годом кончился или лучше сказать, внезапно оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры»<sup>1</sup>.

В жизни Пушкина-человека немалое место занимали светские связи. Обязанности, связанные с придворной службой, были утомительны. Пушкин писал жене: «Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать, и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили как шута <т. е. в придворном мундире; через два с половиной года друзья положили его в гроб во фраке. — Ю. Л.> и что их маменька ужас как мила была на Аничковских <т. е. придворных. — Ю. Л.> балах» (XV, 180). Пушкин мечтал об отставке, о жизни в деревне. Однако было бы заблуждением полагать, что светская жизнь не имела для него привлекательности: он любил «и тесноту, и блеск, и радость» (VI, 17),

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I. М., 1955, с. 87.

любил оживленную беседу с умными, образованными и красивыми женщинами, исторические воспоминания стариков и старух, помнивших царствования Елизаветы Петровны и Екатерины II, танцы, беседы с дипломатами о европейской политике. Он прекрасно владел речью — разговор его был неистощим и блестящ. В салоне он любил быть светским человеком, а не поэтом (маска разочарованного поэта на балу казалась ему нестерпимой пошлостью), никогда не разговаривал с дамами о поэзии и резко отделял светские знакомства от литературных. Пушкин считал себя по праву принадлежащим светскому миру, который он не идеализировал, видя и его пошлость, и скрытый приличием разврат, и холопство, но в котором он встречал и очаги утонченной культуры, такие, как салоны Е. М. Хитрова или Фикельмон, литературный салон кн. В. Ф. Одоевского — поэта, писателя, музыканта, друга Пушкина. Однако Пушкин оставался в свете белой вороной. Сочетание внутреннего холопства и внешнего лоска было ему глубоко чуждо: он был независим и неловок.

Мы видели, что беда подбиралась к Пушкину со всех сторон, но решительный, последний удар ему нанесли именно здесь.

26 января 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Барон д'Антес и Маркиз де Пина, два Шуана, — будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия рапортет» (XII, 319). Жорж Данте, сын небогатого эльзасского дворянина, вынужден был покинуть Францию после Июльской революции, как ультрапоялист. Он оказался в Германии без гроша денег и каких-либо видов на будущее. Судьба свела его с голландским послом в Петербурге, бароном Геккереном. Красивый, рослый, с привлекательной улыбкой Данте легко играл роль беспечного «доброго малого», но на самом деле был сух, корыстолюбив и расчетлив. Вместе с Геккереном, с которым у него сложились двусмысленные отношения, он приехал в Петербург на пароходе «Николай I» 8 октября 1833 года. Были найдены сильные протекции, и Данте зачислили корнетом в Кавалергардский полк — один из самых привилегированных в России.

Геккерен усыновил молодого человека, который из бездомного бродяги без гроша в кармане мгновенно сделался состоятельным человеком и богатым наследником, модным героем петербургских салонов, допущенным в самое аристократическое общество. Для укрепления своего положения в Петербурге Данте<sup>s</sup> умело пользовался дамским расположением, которое он завоевывал с помощью нехитрой науки светского волокитства. Однако странность его отношений с Геккереном ложилась грязным пятном на его имя и грозила испортить столь успешно начатую карьеру. Выход был найден простой: шумный и гласный роман с какой-либо известной дамой света устранил бы порочащие его слухи и одновременно, согласно представлениям того времени, придал бы ему «блеск» в глазах общества<sup>1</sup>. Все поведение Данте<sup>s</sup> свидетельствует о том, что он был заинтересован именно в скандале — речь шла не о любви, а о расчетливом ходе в низменных карьеристских поползновениях. Предметом своих домогательств Данте<sup>s</sup> избрал жену Пушкина, которая была в зените своих светских успехов, и начал грубое и настойчивое преследование ее изъявлениями мнимой страсти.

Пушкин с негодованием отнесся к тому, что его личная жизнь становится предметом грязной игры и спровоцированного ею взрыва светских сплетен. Ни чувства, ни убеждения Пушкина не могли примириться с тем, что его Дом, его человеческое достоинство, честь его жены, тот мир, который был для него основой основ и жизни и поэзии, распахнут для распечатывающих письма полицейских и играющих чужой жизнью светских сплетников. Выход был один — Пушкин решил драться на дуэли. Однако блестящий кавалергард струсиł: Данте<sup>s</sup> заявил, что его ухаживания имели предметом не жену Пушкина, а ее сестру Екатерину, страстно влюбившуюся в красивого француза дурнушку. Предложение было принято,

<sup>1</sup> Ср. мнение матери Вронского в «Анне Карениной», что ничто так «не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете».

и Пушкин взял вызов обратно. Данtes с нелюбимой и некрасивой женой на руках оказался в смешном положении, поскольку Пушкин решительно отверг всякие возможности семейных контактов между своим домом и новоявленным родственником.

Дантес понял, что он заигрался и остался в дураках. Но, как азартный игрок, он не мог уже выйти из игры и вынужден был удваивать ставки. Теперь ему надо было доказывать, что брак был с его стороны не трусостью, а самопожертвованием ради чести любимой женщины, — он с новой силой возобновил свои преследования Натальи Николаевны, стремясь поддержать легенду о «великой страсти».

У Пушкина было много врагов. Ошибочно было бы представлять мир, в котором поэт вращался в последние годы, как вертеп преступников или скопище театральных злодеев. Однако разворачивающее действие победы, одержанной Николаем I на Сенатской площади, только во второй половине тридцатых годов стало сказываться в полной мере. За несколько месяцев до дуэли Пушкин писал Чаадаеву: «Наше современное общество столь же презренно, сколь глупо». Вокруг себя Пушкин видел «отсутствие общественного мнения», «циничное презрение к мысли и к достоинству человека» (*XVI*, 261 и 422). Пушкин, не мысливший жизни без чувства собственного достоинства, вызывал раздражение у людей, не имевших достоинства или утративших его в различных компромиссах с совестью. И сейчас они со злорадным любопытством наблюдали и торопили события, рассчитывая насладиться зрелищем унижения поэта.

Против Пушкина возник настоящий светский заговор, в который входили и досужие шалопайи, сплетники, разносчицы новостей, и опытные интриганы, безжалостные враги поэта: осмеянный им министр просвещения С. Уваров, ненавидевший Пушкина министр иностранных дел Нессельроде со своей женой, бывшей одним из самых упорных врагов Пушкина, и, конечно, голландский посланник барон Геккерен. У нас нет оснований считать,

что Николай I был непосредственным участником этого заговора или даже сочувствовал ему. Однако он несет прямую ответственность за другое — за создание в России атмосферы, при которой Пушкин не мог выжить, за то многолетнее унизительное положение, которое напрягло нервы поэта и сделало его болезненно чувствительным к защите своей чести, за ту несвободу, которая капля за каплей отнимала жизнь у Пушкина.

Даже друзьям Пушкина казалось, что он ведет себя неблагоразумно: излишне агрессивен, не склонен к примирению и уступкам. В таких упреках была доля истины, если подходить к делу с житейскими мерками. Но у Пушкина были другие критерии. По нормам светского поведения Пушкин вел себя неприлично или смешно. В любимом Пушкиным романе Бульвера-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» герой — носитель высших норм дендиизма — говорит: «Я неоднократно наблюдал, что отличительной чертой людей, вращающихся в свете, является ледяное, невозмутимое спокойствие, которым проникнуты все их действия и привычки, от самых существенных до самых ничтожных: они спокойно едят, спокойно двигаются, спокойно живут, спокойно переносят утрату своих жен и даже своих денег, тогда как люди низшего круга не могут донести до рта ложку или снести оскорбление, не поднимая при этом неистового шума»<sup>1</sup>. Пушкин любил подчеркивать свое 600-летнее дворянство, однако внутренне он был лишен аристократизма. Он имел возможность неоднократно убеждаться, общаясь с людьми типа Воронцова или Уварова, что в России «аристократизм» fatalno соединяется с холопством и собственное достоинство существует лишь у тех, кто ни в одну из минут жизни не гарантирован от оскорблений. Только в тех, кто не способен сносить оскорблений, «не поднимая при этом неистового шума», живет истинный аристократизм духа, уважение «к мысли и достоинству человека». Друзья усматривали в

<sup>1</sup> Бульвер-Литтон. Пелэм, или Приключения джентльмена. М., 1958, с. 42.

поведении Пушкина неоправданную ревность, даже невоспитанность, и винили африканскую кровь, которая текла в его жилах. На самом деле это была накопившаяся боль человеческого достоинства, которое не было защищено ничем, кроме гордости и готовности умереть.

Пушкин не был человеком, которого могли победить обстоятельства. Позже, умирая, мучаясь от невыносимой боли (пуля раздробила тазовые кости и разорвала кишечник), он не позволил себе стонать: «Смешно же это, чтобы этот вздор меня пересилил!» – говорил он Далю<sup>1</sup>. Он избрал прямой бой с противником – лицом к лицу, разрывая все путы, которыми так старательно оплетали его враги и интриганы. Он принял окончательное решение и 26 января 1837 года отправил Геккерену страшное по своей оскорбительности письмо, отрезавшее все возможности к примирению и оставлявшее единственный выход – поединок. Сделав решительный шаг, Пушкин сразу же, по свидетельствам современников, успокоился и стал «особенно весел». Он рассчитывал жить – был полон литературных планов и, отправляясь на дуэль, писал детской писательнице А. О. Ишимовой деловое письмо, заказывая переводы для «Современника». Письмо, написанное за несколько часов до рокового поединка, кончалось словами: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в рассказах, и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» (XVI, 227). Это были последние строки, написанные его рукой.

Около 4 часов дня Пушкин со своим секундантом, лицейским другом Данзасом, отправился из кондитерской на углу Невского и Мойки на место дуэли. Через два часа его привезли домой смертельно раненного.

29 января 1837 года в 2 часа 45 минут Пушкин скончался.

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин писал о гибели Грибоедова, чья кончина во многом фатально напоминала конец Пушкина: «Смерть, постигшая его посреди смелого, неравногого боя, не

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 231.

имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна» (*VIII*, 1, 461 – 462). Строчкой выше Пушкин писал, что гибель Грибоедова, который «женился на той, которую любил», и нашел смерть в бою, вызывает у него зависть. Слова эти можно применить и к самому Пушкину.

Человек, для которого жизнь дороже, чем честь, видит в гибели только несчастье. Сохранение жизни становится высшей ценностью. Понять Пушкина с такой позиции нельзя. Пушкин, для которого «наукой первой» оставалось «чтить самого себя» (*III*, 1, 193), который на чувстве гордого самоуважения основывал и «любовь к родному пепелищу», и право на место в истории своего народа, имел более высокие цели, чем сохранение жизни, хотя и менее всего стремился к смерти: он стремился к победе и свободе. Победу он получил, защитив свою честь, опозорив и заклеймив Дантеса и Геккерена, которые вынуждены были, окруженные общим презрением, покинуть Россию, а миг высокой свободы ему дала «смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя».

Пушкин умирал не побежденным, а победителем.

Вглядываясь в поведение Пушкина последних месяцев жизни, мы обнаруживаем, на первый взгляд, противоречие: поступки его кажутся продиктованными вспышками страстей, порой необдуманными и неуравновешенными. Таким его видели в эти дни даже близкие и дружественные наблюдатели. Однако вновь и вновь восстановливая цепь событий, нельзя не обнаружить обдуманную стратегию пушкинского поведения и твердую волю в исполнении задуманного.

Хочется оспорить два распространенных взгляда на трагедию Пушкина. Согласно первому Пушкин – жертва (уже в знаменитом стихотворении Лермонтова поставлен знак равенства между Пушкиным и Ленским, чем была заложена основа романтической легенды о гибели поэта). Загнанный, затравленный, измученный, он был погублен мощными силами социального зла – противниками, которым одиночий

поэт мог противопоставить только гибель. С этим взглядом связан и второй – «Пушкин искал смерти». Оба мнения имеют основания. Силы, готовившие исподволь гибель поэта, действительно были грозными. И зловещая власть их была в том, что о сознательном плане уничтожить Пушкина речи не шло. Дело было в другом: поэзия, человеческое достоинство, творчество, гений были глубоко несовместимы с тем миром, в котором Пушкин жил, и мир этот выталкивал Пушкина из себя, как чужеродное тело, одновременно выталкивая его из жизни. Мир этот вполне мог предложить Пушкину жизнь, но на таких условиях, которых поэт не хотел принимать. Вторая мысль невольно приходила на ум современникам, например, В. А. Соллогубу, наблюдавшему, как Пушкин в последние годы лихорадочно искал поводов для дуэли еще до и помимо своего столкновения с Дантеом. Роковому поединку предшествовала целая цепь «репетиций» – несостоявшихся дуэлей, вызовов, иногда почти без причины.

И все же в таких мнениях кроется глубокая неправда: Пушкин не дал сделать из себя игрушку в чужих руках, жертву сплетен, прихотей и чужих расчетов. Он вырвал инициативу из рук своих гонителей и довел игру по собственному плану. Быть жертвой было не в его нраве.

Пушкин последних лет все более убеждался в том, что окружающий его Петербург глубоко ему враждебен. Никакой враг не мог испугать поэта, написавшего еще в ранней молодости:

Мне бой знаком – люблю я звук мечей;  
От первых лет поклонник бранной славы,  
Люблю войны кровавые забавы,  
И смерти мысль мила душе моей.  
Во цвете лет свободы верный воин,  
Перед собой кто смерти не видал,  
Тот полного веселья не вкушал  
И милых жен лобзаний не достоин.

Стихотворение лишено того плоского автобиографизма, который порой ищут в лирике: оно воспроизводит не реальные обстоятельства пушкинской биографии, а черты его психологии. Борьба – Свобода –

Любовь сплетаются для него в нерасторжимое целое: бой – удел мужа, только веселое мужество «верного воина свободы» делает его достойным женской любви. Пушкин любил бой. К нему можно применить слова Гоголя: «Нечто пиршественное виделось ему в сражении». Политическая конспирация декабристов и порыв, бросивший его в кучу сражающихся во время Эрзрумского похода (верхом, во фраке и цилиндр!), пыл журнальной полемики, азарт карточной игры, хладнокровная смелость у барьера на поле чести – все имело общий психологический корень: «Есть упоение в бою...»

Но бой подразумевает противника, противника живого, имеющего лицо, а не безликую и анонимную серую силу. Между тем именно безликость и анонимность были основными чертами николаевского общества. Пушкин чувствовал себя под постоянным надзором: письма, даже семейные, интимные, – читались. При самых дружеских разговорах его не покидало чувство оскорбительного присутствия чужих ушей. Пушкин даже выработал особую методику – для наиболее сокровенных дружеских разговоров он выбирал время мытья в отдельном номере московских бань. Так, именно в бане он впервые встретился с Вяземским после Михайловской ссылки (они не виделись с 1819 по 1826 год: смерть Александра I, 14 декабря 1825 года, свидание Пушкина с новым царем, участь декабристов – им было о чем поговорить без свидетелей). Позже в бане же Пушкин «отводил душу», беседуя с Нащокиным, простодушная жена которого рассказывала: «Они, как объясняли потом, лежа там, предавались самой задушевной беседе, в полной уверенности, что уж там их никто не подслушает»<sup>1</sup>.

Надзор этот был мучителен, но он не имел лица – нельзя же было по этому поводу объясняться с Бенкендорфом, заверявшим Пушкина в официальном корректном письме, что никто никогда не думал

---

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 204.

учреждать за ним никакого надзора. Анонимны были придирики цензуры — в них нельзя было винить цензоров, которые если и было в чем-либо виноваты, то только в трусости; безлика и неуловима была светская сплетня, анонимны неподписанные пасквили, которые Пушкин получал по почте; в темноте делали свое дело скрывавшие имена доносчики и шептуны. Враг был, но он был безлик и не выставлял «поединника».

Наконец враг показал лицо. Это был недалекий и расчетливый кавалергард, прекрасно усвоивший науку жизни в том измельчавшем мире, который создала европейская аристократия эпохи реставрации, в мире, в котором оригинальность считалась болезнью, а талант преследовался как преступление. Он был нагл и самоуверен. Он думал, что его ждет забавное приключение — ему предстояла встреча с разгневанным львом. Но не только наглое вторжение нахального красавца-кавалергарда в святыню Дома вызвало гнев Пушкина. Соллогуб был прав, когда утверждал, что «он в лице Данте искал [...] расправы со всем светским обществом»<sup>1</sup>.

Друзья с ужасом, враги со злорадством наблюдали, как Пушкин все сильнее оказывался запутанным в сети интриг и сплетен, как его имя все прочнее соединялось с порочащими слухами, как грязь пересудов залиvalа его дом. Даже старый друг Вяземский сказал за несколько дней до дуэли, что он «закрывает свое лицо и отворачивает его от дома Пушкиных». Пушкин разом разорвал все путы. Миг дуэли был его торжеством: он показал, что с ним «шутить накладно»<sup>2</sup>, что только жизнь и смерть по ценности соизмеримы со святыней его семейного очага. Вместо легкого водевиля, в котором собирались участвовать светские сплетники и молодые шалопаи из «веселой банды» золотой молодежи, он вытащил их на сцену трагедии, при безжалостном свете которой сделалось очевидным их ничтожество пигмеев.

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 302.

<sup>2</sup> Слова Пушкина о Ломоносове.

Пушкин знал, что он не камер-юнкер и не некрасивый муж известной красавицы, — он первый Поэт России, и имя его принадлежит истории. Бросив на стол карту жизни и смерти, он этой страшной ценой вызвал духа Истории, который явился и все расставил по своим местам. Пушкин еще не испустил последнего вздоха, а уже сделалось ясно, что он родился для новой, легендарной жизни, что масштабы, которыми отныне меряются его имя и дело, таковы, что в свете их все геккеры и дантесы, уваровы и нессельроде и даже бенкendorфы и николаи просто не существуют. Рана — а потом и смерть — Пушкина вызвала в Петербурге волнение, которого еще не знала столица. Петербург видел смерть Петра I, а затем — несколько естественных и много «чрезъестественных», как говорили в XVIII веке, смертей императоров. Но Петербург хоронил и Ломоносова, и Державина, видел смерть Суворова и шепотом рассказывал о казни пяти декабристов. Но ничего похожего на то, что вызвала дуэль Пушкина, он не знал. Один из современников вспоминал, что «стену в квартире Пушкина выломали для посетителей»<sup>1</sup>. У гроба Пушкина побывало неслыханное число людей. Жуковский осторожно назвал перепуганному Бенкendorфу цифру 10 000 человек, но другие источники называют 20 000 (С. Н. Карамзина) или 50 000 (прусский посол Либерман). Даже друзья, хорошо знавшие Пушкина с детства и еще вчера видевшие, в первую очередь, его человеческие слабости, поучавшие, бравившие, «отвращавшие лицо», вдруг почувствовали, что Пушкин в какое-то мгновение, преображеный смертью, превратился в бронзовый памятник славы России. Так его и назвал в своем дневнике 31 января Александр Иванович Тургенев — тот самый Тургенев, который устраивал его когда-то в Лицей, звал «Сверчком» в «Арзамасе», журил и защищал — и всегда смотрел на него чуть-чуть сверху. Теперь он писал в дневнике, возмущенный подлостью

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 317.

светских салонов, пытавшихся оправдать убийцу Пушкина: «Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине»<sup>1</sup>.

Пушкин победил. Враги его были не только опозорены — Пушкин обнажил их ничтожество. Именно это чувство выразил Кольцов, назвавший Пушкина «простреленным солнцем»:

Так-то, темный лес,  
Богатырь-Бова,  
Ты всю жизнь свою  
Маял битвами.  
Не осилили  
Тебя сильные,  
Так дорезала  
Осень черная...  
... С богатырских плеч  
Сняли голову —  
Не большой горой,  
А соломинкой...

Перепуганные жандармы сутились, стремясь не допустить стихийного изъявления народных почестей телу поэта. Во время выноса тела из церкви, по свидетельству А. И. Тургенева, «явились жандармы, полиция, шпионы»<sup>2</sup>. Тело поэта по личному приказу царя тайком было перевезено в Святые Горы под Псковом, где предано земле безо всяких почестей.

Но Пушкину это было уже все равно: для него началась новая жизнь — жизнь в бессмертии русской культуры.

Прижизненная биография Пушкина — жизнь Пушкина-человека — закончилась, началась вторая, посмертная.

Пушкин вошел в русскую культуру не только как Поэт, но и как гениальный мастер жизни, человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах. А. Блок говорил: «Наша память хранит

<sup>1</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 177.

<sup>2</sup> Там же.

с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это легкое имя: Пушкин.

Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта – не легкая и не веселая; она трагическая». В этом источник бесконечного обаяния личности Пушкина, причина неиссякаемого интереса к его биографии.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Д. А." (D. A.).



## ЧТО ЧИТАТЬ О ЖИЗНИ ПУШКИНА

- А. С. Пушкин** в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1, 2. М., 1974.
- Русские писатели XIX века о Пушкине.** Л., 1938.
- Лернер Н. О.** Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е. СПб., 1910.
- Черейский Л. А.** Пушкин и его окружение. Л., 1975.
- Цявловский М. А.** Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951.
- Анненков П. В.** Материалы для биографии А. С. Пушкина. – Соч. Пушкина в 7-ми т. Т. I. СПб., 1855.
- Анциферов Н. П.** Петербург Пушкина. М., 1950.
- Анциферов Н. П.** Пушкин в Царском Селе. М., 1950.
- Ахматова А. А.** О Пушкине. Л., 1977.
- Ашукин Н. С.** Москва в жизни и творчестве А. С. Пушкина. М., 1949.
- Бартенев П. И.** Пушкин в южной России. М., 1914.
- Белинский В. Г.** Сочинения Александра Пушкина.
- Благой Д. Д.** Творческий путь Пушкина (1813–1826). М.–Л., 1950.
- Благой Д. Д.** Творческий путь Пушкина (1826–1830). М., 1967.
- Болдинская осень.** Сост. Н. В. Колосова, сопроводительный текст В. И. Порудолинского и Н. Я. Эйдельмана, предисл. и науч. редактирование Т. Г. Цявловской. М., 1974.
- Бродский Н. Л.** А. С. Пушкин. М., 1937.
- Гессен А. И.** Жизнь поэта. М., 1972.
- Глинка В.** Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца. Л., 1949.
- Гроссман Л.** Пушкин. Изд. 3-е. ЖЗЛ. М., 1960.
- Мейлах Б. С.** Жизнь Александра Пушкина. Л., 1974.
- Томашевский Б. В.** Пушкин. Л., 1925.
- Томашевский Б. В.** Пушкин. Кн. 1, 2. М.–Л., 1956–1962.
- Тынянов Ю. Н.** Пушкин и его современники. М., 1969.
- Тынянов Ю. Н.** Пушкин (роман). Л., 1974.
- Марина Цветаева.** Мой Пушкин. М., 1967.
- Щеголев Н. Е.** Дуэль и смерть Пушкина. М., 1936.



## СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . . .	3
Глава первая. Годы юности . . . . .	10
Глава вторая. Петербург. 1817–1820 . . . . .	31
Глава третья. Юг. 1820–1824 . . . . .	52
Глава четвертая. В Михайловском. 1824–1826 . . . . .	111
Глава пятая. После ссылки. 1826–1829 . . . . .	137
Глава шестая. Тысяча восемьсот тридцатый год . . . . .	160
Глава седьмая. Болдинская осень . . . . .	181
Глава восьмая. Новая жизнь . . . . .	192
Глава девятая. Последние годы . . . . .	222
Что читать о жизни Пушкина . . . . .	253

---

*Юрий Михайлович Лотман*

**АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН  
БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ**

**Пособие для учащихся**

Редактор *А. А. Крундышиев*

Художник *Л. А. Яценко*

Художественный редактор *В. Б. Михневич*

Технические редакторы *А. Б. Этина, К. И. Жилина*

Корректор *Т. В. Новик*

ИБ № 7845

Подписано к печати с диапозитивов 18.01.83. Формат  
84 × 108<sup>1/3</sup>. Бумага кн.-журн. Гарнитура Плэнтия. Вы-  
сокая печать. Усл. печ. л. 13,44 + вкл. 0,84. Усл. кр.-отт.  
15,44. Уч.-изд. л. 12,44 + вкл. 0,64. Тираж 400 000 экз.  
Заказ № 787. Цена 40 к.

Ленинградское отделение ордена Трудового Красного  
Знамени издательства «Просвещение» Государственного  
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и  
книжной торговли. 191186, Ленинград, Д-186, Нев-  
ский пр., 28.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового  
Красного Знамени Ленинградское производственно-техни-  
ческое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горь-  
кого Союзполиграфпрома при Государственном комитете  
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной  
торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Обложка и вклейка отпечатаны на Ленинградской фабрике  
офсетной печати № 1 Союзполиграфпрома при Государствен-  
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и  
книжной торговли. 197101, Ленинград, П-101, ул. Мира, 3.

**40 K.**

